

П. Н. ТКАЧЕВ

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ РАЦИОНАЛИЗМА

Предисловие и примечания Б. Козьмина

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ П. Н. ТКАЧЕВА К МАРКСИЗМУ

В рядах русских революционеров 70-х годов П. Н. Ткачев, вождь русских бланкистов и издатель заграничного журнала «Набат» (1875—1881 гг.), занимал обособленное место. Представители других революционных фракций того времени чуждались его и его последователей и видели в них не союзников в общем деле, а политических врагов. «С группой Ткачева, — свидетельствует современник, — остальная революционная эмиграция почти не поддерживала сношений»¹. По словам другого современника идеи, которые Ткачев проповедывал в «Набате» и в своих брошюрах, приводили «не только в крайнее негодование, но прямо в ужас тогдашних революционеров». В 1875 г., когда Ткачев приступил к изданию «Набата», видный революционер того времени С. М. Кравчинский писал Лаврову: «Ткачев издает журнал под именем «Набат». В сущности это будет одна мерзость — политическая революция, но она прикрыта, разумеется, социальной». С Кравчинским был вполне солидарен и его адресат Лавров: в 1873 г., начиная издание за границей журнала «Вперед», Лавров заявил, что страницы его журнала будут открыты для представителей всех революционных течений, кроме одного: того, которое намерено совершить революцию без народа, силами революционного меньшинства. Лавров имел в виду существующую в то время за границей небольшую группу эмигрантов (поляков и русских), объявивших себя последователями Огюста Бланки. Отчужденность революционеров других направлений от Ткачева и их враждебное отношение к нему выражались зачастую в чрезвычайно резких и грубых формах.

Очень ярко и показателен один эпизод, о котором рассказывает в своих воспоминаниях Н. А. Морозов, в то время состоявший одним из редакторов подпольного журнала «Земля и Воля». Однажды Морозов сказал своим товарищам по редакции, что он намерен послать одну свою статью Ткачеву для напечатания ее в «Набате».

«Я никогда не забуду, — рассказывает Н. А. Морозов, — впечатления, какое произвели мои слова на товарищей по редакции, особенно на Клеменца. Он весь покраснел, как будто ему нанесли личное оскорбление, и, вскочив со стула, начал бегать из угла в угол по комнате, нервно потирая руки.

— Как! — воскликнул он. — Ты будешь сотрудничать в якобинском журнале! В журнале, проповедующем революционный захват власти!.. Это немыслимо!.. Твое имя будет стоять рядом с именем Ткачева!

— Но что же из этого?

— То, что «Набат» напрасно называет себя органом русских революционеров! В России нет ни одного революционера, находящего целесообразным захват центральной правительственной власти в свои руки путем заговора!

— А может быть такие и есть или просто окажутся с легкой руки того же самого «Набата»! — возразил я.

— Тогда они будут нашими врагами! В основе всего должно лежать крестьянство и его общинные инстинкты!»²

Эпизод, рассказанный Морозовым, очень характерен, — особенно, если принять во внимание, что Клеменец, по отзыву его друга Кравчинского, никогда не был «человеком партии» и «всегда держался в стороне от «программных» раздоров, так часто разделявших революционную партию на непримиримо враждебные лагеря»³. Если такой терпимый к чужим мнениям и убеждениям человек, как Клеменец, настолько враждебно относился к Ткачеву и «Набату», то чего же ждать от других, более непримиримых!

Как видно из приведенных выше свидетельств современников, Ткачеву приходилось работать в чрезвычайно трудных условиях. Атмосфера враждебности и подозрительности, которая окружала его, затрудняла выполнение той задачи, которую он себе поставил. Его проповедь яковинских методов борьбы наталкивалась на предубеждение, которое, казалось, ничем нельзя было сломить. Однако Ткачев упорно твердил свое и, не смущаясь, шел к достижению поставленной себе цели, сознавая, что требования жизни и логика развития революционной борьбы заставят русских революционеров — хотя бы они этого или нет — согласиться, если не во всем, то во многом с тем, что он писал в своем журнале. Ткачев сознавал, что в конечном счете успех его дела будет зависеть не от того, как много удастся ему набрать единомышленников, солидаризирующихся вполне с его программой, а от того, какое действие его проповедь производит на массу действовавших в то время в России и ведущих борьбу революционеров, независимо от того, приверженцами какой из революционных фракций они себя считают. «Я никогда не придавал особого значения распространению «Набата» в России, — писал Ткачев одному своему знакомому. — «Набат» был не агитационный революционный листок: его задача состояла лишь в том, чтобы вернуть революционеров к тем единственно практически верным идеям и принципам революционной деятельности, от которых они, под влиянием реакции, под влиянием анархистских и лавровских бредней стали было отрешиваться. Эти идеи и принципы не заключали в себе ничего нового, но их недурно было напомнить. И «Набат» мог выполнить (и действительно выполнил) эту задачу, не будучи даже распространен в России. Достаточно было, чтобы с его программой и с основными принципами ознакомились лишь некоторые революционные деятели, чтобы среди них он возбудил толки и распри, достаточно было напомнить забытые идеи небольшому числу революционеров, а затем уже сама революционная практика не замедлила доказать разумность, практичность этих идей и распространить их среди большинства революционеров. Я очень хорошо знаю, что в России мало кто имеет в руках «Набат», но о его существовании, о его программе, о его принципах известно было во всех почти революционных кружках. Вкрыв и вкось обсуждая эту программу и эти идеи, извращая их, клеветая на них, анархисты и лавристы распространяли их среди молодежи и подготовили их окончательное торжество, — торжество, выразившееся в образовании партии «Народной Воли», в образовании целого ряда «исполнительных» и иных комитетов, в программе, принятой на липецком съезде, и наконец в целом ряде удачных и неудачных покушений. Истинность и неопровержимость идей, проводимых в «Набате», так была для меня очевидна, что я ни на минуту не сомневался в том, что они восторжествуют, что они найдут себе практическое осуществление даже в том случае, если бы «Набат» не выходил из пределов Швейцарии, даже и в том случае, если бы он издавался лишь хоть в десяти экземплярах»⁴.

Таким образом Ткачев был убежден в том, что расчет, с которым он приступил к изданию «Набата», оказался безошибочным: его идеи действительно оказали то действие на русских революционеров, которого он желал и ожидал.

Мы не можем здесь подробно анализировать, насколько правильно это убеждение Ткачева, и ограничимся лишь указанием на то, что в марксистской литературе влияние Ткачева на развитие русской революционной мысли его времени стоит вне всяких сомнений. Еще в «Наших разногласиях» Г. В. Плеханов показал, как много «Народная Воля» заимствовала от Ткачева. На той же точке зрения стоял и Ленин, когда в «Что делать?» он указывал, что деятельность «Народной Воли» была подготовлена теоретической проповедью Ткачева⁵. А этого одного достаточно для доказательства

того, какое большое значение для правильного понимания нашего исторического прошлого имеет изучение литературного наследства Ткачева.

Отчужденность от громадного большинства русских революционеров 70-х годов, в атмосфере которой жил и работал Ткачев, крайне затрудняет изучение его жизни и творчества. В мемуарах современников мы встречаем только краткие и беглые упоминания о Ткачеве и его группе. Даже тогда, когда революционеры-народники начали заимствовать у Ткачева отдельные положения его программы, они продолжали отгораживаться от него. Это отразилось и на позднейшей литературе по истории революционного движения. Русским бланкистам — и в частности Ткачеву — в ней отводилось очень мало места, гораздо меньше, чем они того заслуживали по роли, сыгранной ими и их идеями в развитии революционного движения. Для иллюстрации этого достаточно сослаться хотя бы на тот факт, что в литературе по истории нашего революционного движения, вышедшей до октября 1917 г., Ткачеву была посвящена только одна статья и притом рассматривавшая его не как революционера, а как литературного критика: мы имеем в виду статью М. М. Клевенского «П. Н. Ткачев как литературный критик», помещенную в № 7—8 «Современного Мира» за 1916 г.

Серьезное изучение жизни и идей Ткачева, как и вообще вопроса об исторических судьбах русского бланкизма, началось только после Октябрьской революции, когда переоценка нашего революционного прошлого выдвинула на очередь и пересмотр вопрос об исторической роли русского бланкизма. Однако изучение Ткачева наталкивалось на одно весьма серьезное препятствие, заключавшееся в том, что его литературное наследство, разбросанное на страницах старых легальных и нелегальных журналов, не было приведено в известность и собрано⁶. Тем не менее после Октябрьской революции выходит ряд работ, посвященных Ткачеву. Вопрос об его историческом значении и оценка его социально-политической программы вызывает на страницах советской печати полемику⁷. При этом интересно отметить, что в послеоктябрьской литературе о Ткачеве ему уделяется много внимания не только как революционному мыслителю, обосновавшему своеобразную программу революционной борьбы, но и как литературному критику, сделавшему шаг вперед по направлению к марксизму даже по сравнению со своими блестящими предшественниками, критиками-разночинцами 60-х годов. При этом некоторые авторы, писавшие о Ткачеве, переоценивают значение этого писателя, или, точнее, степень близости его взглядов к марксизму. Так например, в журнале «На литературном посту» в № 3 за 1927 г. была напечатана статья Н. Кравцова «П. Н. Ткачев» с подзаголовком: «Первый критик-марксист». Еще раньше этого Н. К. Пиксанов в своем тематическом пособии «Два века русской литературы» именовал Ткачева «ранним марксистом-критиком» (2-е изд., М., стр. 180). Надо сказать, что ни Н. Кравцов, ни Н. К. Пиксанов своего взгляда на Ткачева как на марксиста ничем не обосновывают. Н. К. Пиксанов был лишен возможности сделать это по самому характеру его книги, имеющей характер библиографического указателя. Что же касается Н. Кравцова, то он ограничился беглым и кратким пересказом биографии Ткачева и весьма поверхностным и неполным изложением его литературно-критических взглядов. Понять из этого изложения, почему Кравцов считает Ткачева «марксистом», — весьма трудно. Если он отмечает, что, по мнению Ткачева, искусство, и в частности литература, отражает «социальную обстановку и экономику» и что Ткачев в своих литературно-критических статьях отыскивал «экономические причины возникновения» тех типов, которые выведены в рассматриваемых им художественных произведениях, то одного этого конечно слишком недостаточно, чтобы можно было признать Ткачева «первым критиком-марксистом».

Такой взгляд на Ткачева, признающий его «марксистом» без всяких оговорок, вряд ли нуждается в подробном разборе и опровержении. Несостоятельность его очевидна: марксизм как идеология развитого фабрично-заводского пролетариата не имел еще своих представителей в стране, только что сбросившей с себя путы крепостничества. Это — несомненно, но несомненно также и то, что в такой стране могли быть — и действительно были — люди, воспринимавшие отдельные стороны учения Маркса, отдель-

ные «элементы марксизма». Тем не менее такие люди, как бы много они ни принимали из теории основоположника научного социализма, не были «марксистами» в точном и полном значении этого слова. К числу таких-то именно людей и должен быть отнесен П. Н. Ткачев. Весь вопрос сводится к тому, какие именно из «элементов марксизма» были усвоены Ткачевым и в какой степени?

В нашей литературе встречаются разногласия относительно этих вопросов. И. Г. Ямпольский, автор обстоятельной и интересной статьи «П. Н. Ткачев как литературный критик», напечатанной в 1931 г. в № 1 журнала «Литература», издающемся Академией Наук СССР, признавая, что считать Ткачева «первым русским марксистом» невозможно, и отмечая ряд расхождений между взглядами Ткачева и марксизмом, так формулирует отношение его к теории К. Маркса: «Впервые в России понял значение марксизма, стал воспринимать его теоретические положения и пытался широко применять их в различных отраслях науки именно Ткачев» (стр. 31—32).

То, что Ткачев действительно воспринимал теоретические положения марксизма и довольно широко пытался применять их в разных отраслях науки, стоит вне всяких сомнений. Но действительно ли имеем мы право сказать, подобно И. Г. Ямпольскому, что он «понял значение марксизма»?

Думается, что уже одно то, что Ткачев выдвинул и обосновал чисто бланкистскую программу революционной борьбы, должно было бы предостерегать от таких рискованных формулировок. Если бы Ткачев действительно «понял значение марксизма», он не стал бы высказываться за возможность совершения социалистического переворота силами одного организованного в сплоченную партию революционного меньшинства, захватывающего при помощи заговора государственную власть в свои руки и устанавливающего свою диктатуру. Политическая программа Ткачева игнорировала русский рабочий класс. Этого одного достаточно для того, чтобы мы, вопреки И. Г. Ямпольскому, могли с полным основанием утверждать, что марксизма Ткачев не понял.

Однако признание этого не избавляет нас от необходимости ответить на вопрос, поставленный выше, — на вопрос о том, какие элементы марксизма Ткачевым были усвоены и в какой степени?

Для правильного ответа на этот вопрос необходимо внимательно изучить литературное наследство Ткачева как опубликованное, так и оставшееся до сих пор в рукописях и в частности его неопубликованные юношеские работы, писавшиеся им тогда, когда он только познакомился с теорией К. Маркса. Одной из таких юношеских работ Ткачева является его незаконченная статья «Очерки из истории рационализма», печатаемая нами⁸. Для вопроса об отношении Ткачева к марксизму статья эта представляет не малый интерес; по ней можно заключить о том, что именно понял и воспринял Ткачев в марксизме и чего он не понял.

То, что Ткачев стоял на точке зрения экономического материализма, в настоящее время общеизвестно и никем не оспаривается. Общеизвестно и то, что Ткачев еще в 1865 г. в печати объявил себя последователем теории Маркса.

«Вся общественная жизнь во всех ее проявлениях, со всей литературой, наукой, религией, политическим и юридическим бытом есть не что иное, как продукт известных экономических принципов, лежащих в основе всех этих явлений. Данные экономические принципы, последовательно развиваясь, комбинируют известным образом человеческие отношения, порождают промышленность и торговлю, науку и философию, соответствующие политические формы, существующий юридический быт, порождают, одним словом, всю нашу цивилизацию, делают весь наш прогресс». Вот формула, в которой Ткачев изложил основы своего экономического материализма. Но он не ограничился только формулированием своего общего взгляда на взаимоотношения экономики и других сторон жизни человечества. Он сделал ряд интересных и иногда весьма ценных попыток применить свои общие взгляды к анализу конкретных общественных явлений. При этом он не ограничивался фактами политическими (очень интересны его попытки выяснить причины Реформации, крестьянских войн в Германии, так называемой «эпохи великих реформ» в России и др.), но пытался подойти с точки зрения экономического

П. Н. ТКАЧЕВ

Фотография 1860-х гг.

Институт Русской Литературы, Ленинград



материализма к анализу весьма разнообразных явлений, начиная с юридических и кончая литературными. Одной из таких его попыток применения принципов экономического материализма к конкретным историческим явлениям является и публикуемая нами статья «Очерки из истории рационализма». В ней Ткачев задается целью выяснить причины победы «рационализма», под которым он понимает «резвый, беспредвзятый, строго реальный взгляд на человеческие отношения и на явления окружающей нас природы», над «узкою, догматическою доктриною, возникшею в период римских императоров» (так Ткачеву страха ради перед цензурою приходилось обозначать христианство). Обычно во времена Ткачева — да и значительно позднее, вплоть до наших дней — историки объясняли отмеченную Ткачевым победу «рационализма» распространением научных знаний, подорвавших значение господствовавших ранее суеверий и помогших человеку выработать правильный, научный взгляд на явления природы и общественной жизни. Ткачев оспаривает это объяснение, справедливо указывая, что сторонники его путают причину со следствием и принимают за первое то, что в действительности было вторым: «Не накопление, расширение и осмысление точных знаний подорвало веру в волшебство и колдовство, — говорит Ткачев, — а, наоборот, подорванная вера породила науку, сделала возможным приобретение и расширение точных знаний».

Надо ли говорить о том, что во времена Ткачева, когда в России в кругах мелкобуржуазной (не говоря уже о буржуазной) интеллигенции господствовало мнение, что идеи управляют миром, такая постановка вопроса, какую дает Ткачев, должна была казаться страшною ересью. Но еще большей ересью было его утверждение, что победа «рационализма» являлась следствием экономического развития Европы. «В самом строе общественной жизни, — говорит Ткачев, — в экономическом быту средневекового общества, произошли такие изменения, которые сообщили европейской мысли совершенно иное направление». К чему же сводились эти изменения? К развитию промышленности и торговли, к появлению буржуазии, вступившей в борьбу с господствующим классом, с феодальным дворянством. Вот почему борьба науки против суеверий была «борьбою промышленных, торговых интересов с интересами теологическими, религиозными». «Экономическая жизнь, — говорит Ткачев, — развиваясь из своих принципов, постепенно подготовила революцию во взглядах людей».

Из этих рассуждений Ткачева для нас с полной ясностью вырисовывается его взгляд на сущность исторического процесса. Если оставить в стороне неточность некоторых

формулировок, то в основном этот взгляд может быть признан правильным. Как видим, в этом вопросе Ткачев значительно опередил своих современников, среди которых господствовал чисто идеалистический взгляд на исторический процесс. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о той полемике, которую Ткачеву пришлось вести в 1869 г. с «Отечественными Записками» Некрасова. Полемика эта была вызвана статьей Ткачева «Женский вопрос», напечатанной в вышедшей под его редакцией книге Дауля «Женский труд». Ткачев доказывал, что женский вопрос вызван не прогрессом умственного развития общества, а причинами экономическими. Такая постановка вопроса привела в полное недоумение рецензента «Отечественных Записок» (1869 г., № 1). Полагая, что умственное развитие «справедливо считается двигателем прогресса», рецензент обвинял Ткачева в том, что он хочет «исключить женский вопрос из-под влияния умственного развития человечества». «Умственные, нравственные, политические, одним словом, все явления общественной жизни находятся в неразрывной связи между собой и обуславливают друг друга», поучал Ткачева рецензент.

Печатаемая нами статья открывает и слабые стороны миросозерцания Ткачева и дает возможность наметить ряд пунктов, в которых Ткачев самым решительным образом расходился с марксизмом. На них-то мы теперь и остановимся.

Хотя Ткачев и был знаком с теорией Маркса, он во многих вопросах продолжал придерживаться тех же мнений, какие господствовали среди его современников. Большое влияние на него оказала теория утилитаризма, широко распространенная в то время в кругах мелкобуржуазной интеллигенции. Современники Ткачева из этого лагеря были уверены, что человеку свойственно всегда руководствоваться принципом пользы: человек поступает так, как считает для себя наиболее выгодным. Если же на практике его расчет часто оказывается ошибочным, если на каждом шагу мы видим примеры того, что действия человека приводят к невыгодным для него последствиям, то единственной причиной этого является неспособность большинства людей правильно расценивать свою собственную пользу. От этой неспособности люди избавятся лишь тогда, когда они станут более развитыми и образованными. Распространение среди них научных знаний откроет перед ними возможность всегда и при всех условиях правильно расценивать свои интересы и сообразно с этим направлять всю свою деятельность.

Ткачев, как мы говорили выше, находился под сильным влиянием теории утилитаризма, особенно на первых порах своей литературной деятельности⁹. Утилитаризм, как утверждает Ткачев в печатаемой нами статье, «благодаря великим трудам Гельвеция, Бентама и Милля, завоевал себе весьма прочное и надежное место». Как и его современники, Ткачев был уверен, что люди всегда руководятся соображениями о собственной выгоде. А так как среди разнообразных интересов, свойственных человеку, на первом плане для него всегда стоит интерес экономический — соображение о том, что для него выгодно в экономическом отношении, — то экономика имеет преобладающее значение. Ею обусловлены все другие стороны человеческой жизни. Таким образом экономический материализм Ткачев выводил из теории утилитаризма. В печатаемой нами статье можно найти ряд совершенно ясных высказываний, подтверждающих это.

Так например, отметив смену «всеобщего мракобесия и невежества» «терпимостью и снисходительностью в религиозных делах», Ткачев заключает: «То, на что не осмеливался покушаться ни один мыслитель, что, казалось, не могла одолеть никакая диалектика атеиста, то одолел и победил простой экономический расчет». «Чуть только, — говорит Ткачев про средневекового человека, — требования его фанатизма стали в противоречие с требованиями его личного расчета, его экономического интереса, сейчас же фанатизм испарился». «Мыслители, — говорит Ткачев в другом месте, — только тогда начали проповедывать неверие, терпимость и утилитаризм, когда экономический расчет давно уже переменял взгляды практических людей на непогрешимость католического догмата и на ту роль, которую страдания и наслаждения играют в человеческой жизни».

Таким образом связь между экономическим материализмом Ткачева и современной ему теорией утилитаризма стоит вне сомнений. В этом одно — и весьма существенное —

расхождение его с марксизмом. Маркс к утилитаризму относился отрицательно, видя в нем одну из разновидностей буржуазной философии.

Другое расхождение между Ткачевым и марксизмом также видно из его печатаемой нами статьи. Это — отсутствие у Ткачева ясного и четкого представления о значении борьбы классов. Правда, и в этом отношении Ткачев опережает многих своих современников. Ткачев сознает, что современное общество распадается на ряд классов соответственно той роли, которую каждый из них играет в производстве. Сознает он и то, что каждый общественный класс «имеет свое особое мирозерцание, свою особую программу»¹⁰. Ткачев понимает, что интересы этих классов непримиримо расходятся и что вследствие этого между классами неминуемо происходит взаимная борьба. Однако борьбу классов он рассматривает как частный вид всеобщей борьбы, наблюдающейся в человечестве, — борьбы государств, национальностей, общественных групп и отдельных людей между собою. Эту всеобщую борьбу Ткачев склонен рассматривать как результат того, что большинство современных государств возникло в результате войны и завоевания. «В основу общества, созданного войной, — говорит Ткачев в печатаемой нами статье, — роковым образом должен был лечь и принцип войны». Таким образом в этом случае борьба классов выводится Ткачевым не из противоположности их интересов и роли в производстве, а из такого случайного факта, каким является война. Можно думать, что, по его мнению, в обществе, возникшем вне зависимости от войны, борьба между отдельными составляющими его социальными группами могла бы и не иметь места. Это свидетельствует о том, что у Ткачева не было отчетливого понимания причин и значения борьбы классов.

Отмеченные нами два пункта, в которых Ткачев расходился с марксизмом, не были единственными. Другие его литературные произведения дают возможность установить и ряд других расхождений. Однако и того, что сказано выше, достаточно, чтобы нам стало ясно, насколько рискованно утверждать, будто бы Ткачев действительно впервые в России «понял значение марксизма».

Это не исключает однако того, что в России того времени Ткачев в большей степени, чем кто-либо другой (за исключением быть может Н. И. Зиберы, прямого предшественника легальных марксистов 90-х годов), воспринял учение Маркса. С этой точки зрения изучение литературного наследия Ткачева, и в частности неопубликованной его части, представляет большой интерес.

Б. Козьмин

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ П. Б. Аксельрод, *Пережитое и передуманное*. Берлин, 1923, стр. 163.

² Н. А. Морозов, *Повести моей жизни*, т. IV, М., 1918, стр. 255—256.

³ С. М. Кравчинский, *Сочинения*, т. II, «Подпольная Россия», стр. 35—36.

⁴ Материалы для биографии П. Н. Ткачева. «Былое» 1907, № 8, стр. 164—165.

⁵ *Сочинения*, т. IV, 3-е изд., стр. 494.

⁶ В настоящее время в издательстве Общества политкаторжан выходит под редакцией пишущего эти строки собрание избранных социально-политических статей Ткачева в четырех томах, которое будет включать в себя все основные для характеристики идей Ткачева его произведения, в том числе некоторые его статьи, не появлявшиеся до сих пор в печати.

⁷ Мы имеем в виду статьи С. И. Мицкевича «Русские якобинцы» в № 7—8 «Пролетарской революции» за 1923 г. и «К вопросу о корнях большевизма» в № 5 «Каторги и ссылки» за 1923 г., статьи Н. Н. Батурина «О наследстве русских якобинцев» в № 7 «Пролетарской революции» за 1924 г. и «Еще о цветах русского якобинства» в № 8 того же журнала за 1925 г.

⁸ В упоминавшееся выше собрание избранных сочинений Ткачева, выходящее в издательстве Общества политкаторжан, эта статья не включена лишь по недостатку места.

⁹ Подробнее об этом см. в 4-й главе моей книги «П. Н. Ткачев и революционное движение 60-х годов». М., 1922.

¹⁰ См. его статью «Мужик в салонах русской беллетристики» в № 3 «Дела» за 1879 г., стр. 19.

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ РАЦИОНАЛИЗМА¹

Статья первая

I

Слово рационализм имеет, как известно, двоякое значение. В тесном смысле оно употребляется для обозначения известной теолого-философической школы, черпающей свои понятия о божестве из идей разума и отвергающей обрядовую сторону положительной религии. Но это же слово, взятое в более широком, так сказать разговорном, значении, обозначает трезвое, разумное мирозерцание, свободное от всяких суеверий и предрассудков, — трезвое, разумное отношение к явлениям окружающей природы и к отношениям людей между собою. В этом последнем смысле мы здесь и будем употреблять слово рационализм. История рационализма есть история постепенного высвобождения человеческого ума из-под груды нелепостей и суеверий, успевшей накопиться в течение многих веков благодаря ревностному содействию разных господ в черных и красных мантиях. Трогательная и поучительная история: трогательнее штаббриановской Мартирологии², поучительнее всевозможных историй войн и смен династий. В течение многих веков своего исторического развития человеческому уму приходилось бороться с трудностями почти непреодолимыми; на каждом шагу его опутывали искусно сплетенными сетями отцовских предрассудков и дедовских глупостей; на каждом шагу его встречали новые капканы и новые преграды.

Если ему удавалось выбиться из проклятых сетей, обойти капканы и разрушить преграды, если ему удавалось счастливо покончить войну с самим собою, — тогда его ожидала еще худшая судьба. Перед ним являлся палач в красной рубаше или инквизиторской мантии и, многозначительно указывая на виселицу или же на пылающее *auto da fe*, грозно требовал, чтоб дерзкий ум замолкнул и снова удалился в скорлупу дедовского невежества и дедовских предрассудков. Ум умолкал, или, если уже молчать быть неумоготу, говорил, но каждое его слово окупалось потоками человеческой крови. А между тем слова эти имели в виду только одно человеческое счастье, и за это-то их так гнали и преследовали.

Странно и с первого взгляда даже неправдоподобно! В самом деле, если взять человека отдельно, изолированно от других людей, то бесспорно, что каждый человек всегда думает и действует, соображаясь со своими личными интересами, своею личною выгодой; личная польза, личное благо — вот единственный стимул всякой человеческой деятельности. А между тем стоит взглянуть на результаты деятельности целого общества — совокупности многих человеческих единиц, — чтобы невольно усомниться в истинности человеческого утилитаризма. Невольно кажется, что человек только притворяется утилитаристом, что, в сущности, он чистейший аскет. На каждом шагу он гадит и портит себе жизнь; каждое мгновение отравляет себя горьким ядом бедности или пресыщения, при каждом удобном и неудобном случае казнит, бичует и истязует себя самым мучительнейшим и невыносимейшим образом.

Откуда, в самом деле, это странное противоречие между индивидуальным стремлением каждого человека к личному счастью и результатом общественной деятельности, прямо противоположным всякому личному счастью?

Многие теологи и философы, не видя никакой возможности решить этот щекотливый вопрос сколько-нибудь человеческим образом, прибегали к вмешательству небесных сил. Они с полным знанием дела самоуверенно объявляли, что зло сего мира имеет внечеловеческое начало, что оно про-

исходит от каких-то сверхъестественных существ и что потому оно вечно и неизбежно. Такое объяснение было бы весьма удовлетворительно, если бы оно хоть что-нибудь объясняло. Но, к несчастью, оно именно этого-то и не делает: вместо одного неизвестного оно вводит целых два.

Другие мыслители, менее теологи и философы, без дальнейших околичностей порешили вопрос таким образом: люди несчастны потому, что они не понимают своего счастья; каждый человек может быть счастливым и хочет быть счастливым, но он не знает, где ему искать счастья, и потому он всегда действует как бы опрометью, с закрытыми глазами. Отсюда — взаимная вражда, недоверие, антагонизм.

С первого взгляда такое объяснение может показаться весьма простым и весьма удовлетворительным. Но, в сущности, оно так же пусто, неопределенно и бессодержательно, как и первое. Прежде всего возникает такой вопрос: почему люди, в своих бессознательных поисках за счастьем всегда стараются друг другу повредить и напакостить? Далее, почему счастье каждого из них зависит и обуславливается несчастьем всех остальных? Человек не понимает своего счастья. Нет, неправда, — он очень хорошо его понимает, но он поставлен в такие условия, что ему ничего другого не остается, как теснить и грабить своего ближнего, если он сам не хочет быть ограбленным и разоренным. *Ala guerre — comme à la guerre!*

Неужели ростовщик не понимает своего счастья, когда он берет с должника 60% в год, и неужели ему было бы выгоднее брать не 60%, а законные 6%? Неужели фабрикант не понимает своей выгоды, когда понижает задельную плату до *minimum*'а и возвышает цены на товары до *maximum*'а? Неужели купец не понимает своей выгоды, когда продает свои товары вдвое дороже, чем за сколько их купил? Неужели журналист не понимает своей выгоды, когда соглашается получать субсидии или льстит мнениям и вкусам бессмысленного большинства? Неправда, все эти господа отменно хорошо понимают свою выгоду. Никто не станет спорить, что ростовщику выгодно брать высокий процент, фабриканту — понижать заработную плату и т. д. Но уж таковы анархические условия нашего существования, что почти все выгодное и полезное для одного невыгодно и вредно для другого. Таким образом поражающая противоположность между индивидуальным стремлением человека к личному счастью, с одной стороны, и жестокими невыносимыми несчастьями, окружающими его, — с другой, объясняется не вмешательством богов и не недостатком утилитаризма в людях, а просто теми антисоциальными, анархическими принципами, которые легли в основу нашего быта, это объясняет нам — и объясняет весьма удовлетворительно — история. История показывает, как необходима и неизбежна была война среди бедных кочующих народов, она показывает далее, что война повлекла за собою завоевания, с одной стороны, порабощение — с другой. В основу общества, созданного войной, роковым образом должен был лечь и принцип войны. Для победителей это был весьма выгодный и полезный принцип, потому они во все время исторического существования человечества не переставали изощрять свое остроумие, выдумывая всевозможные средства, как бы подольше сохранить и укрепить этот милый их средцу принцип.

Средства эти были двух родов: физические и нравственные. К первым следует отнести рабство, оковы, плахи, пытки, тюрьмы и тому подобные способы и виды грубого материального насилия. Ко вторым мы причисляем нравственные пытки, суеверия и предрассудки, умышленно распространяемые и поддерживаемые в массах хитростью, лукавством или обманом. Средства второго рода пускались обыкновенно в ход в тех случаях, когда ослабевали средства первого рода. А ослабевали они разумеется не по желанию и доброй воле победителей; победители бы пожалуй всегда рады

видеть их укрепляющимися и совершенствующимися, но логика фактов, логическое развитие данных принципов экономического быта, устраняли их, делали их неудобоприменяемыми и даже вредными. Рабов легко было держать в страхе и повиновении с помощью бичей, крестов, цепей и тому подобных укротительных мер; потому римские рабовладельцы любили и лелеяли рабство как самый лучший и драгоценный институт древнего мира. Однако в конце концов им пришлось от него отказаться. Рабство истощило почву Италии, и позднейшие римские писатели по части сельского хозяйства (так называемое *scriptores de rei rusticae*) открыто признали убыточность рабского труда и советовали заменить его либо трудом вольнонаемным, либо колонатством. Кроме того скопление несметных богатств в одних руках и частые сношения с азиатскими народами развили в римлянах потребность роскоши и комфорта — мать всякой промышленной и торговой деятельности. А к этой деятельности рабский труд еще менее удобоприменим, чем к земледелию. Потому под конец республики и в особенности при императорах патриции целыми тысячами отпускают на свою волю рабов; самые способы отпущения (манумиссии) упрощаются и разнообразятся до крайности. Императоры сначала вздумали было удерживать общий поток узаконениями, стеснявшими свободу патрициев отпускать на волю рабов. Так например, Август запретил отпускать на волю рабов, не достигших 20 лет, и строго определил то число рабов, какое мог освобождать рабовладелец по завещанию. Однако все эти и им подобные стеснения остались почти без влияния на практику; дело освобождения шло своим чередом, колонат повсюду занимал место рабства.

Железные оковы спадали с людей, нужно было заменить их чем-нибудь не менее действительным; явилась нужда в содействии черных ряс. И это содействие не заставило себя долго ждать. Черные рясы рады были оказывать услугу, и услуга была как нельзя более кстати; кроме внутренних, экономических, изменений, потрясавших в самом принципе древнее общество римлян, нападения извне ослабили и окончательно расшатали весь этот мнимый порядок законного грабительства и юридического крючкотворства. Казалось, все готово было рухнуть, казалось, новая жизнь, новый свет готов был проникнуть в роковой сумрак хаотически бродящего общества. Тогда-то раздалось это ужасное слово: стой и не двигйся!

Крик этот был принят за благую весть; Рим сделал его своим девизом, и тысячи чернорясников напрягли все свои силы, чтобы призыв не остался без действия, чтобы все остановилось и не двигалось.

Началось систематическое наступление и развращение человеческой мысли; ее пугали призраками и привидениями, ее опутывали тонкою сетью самых грубых нелепостей и предрассудков. Расчет был верен. Человек напуганный, всего и всех боящийся, повсюду усматривающий козни злых духов, глубоко верующий в загробные мучения и в то же время искренне убежденный в своей греховности, такой человек не особенно страшен даже и в раздраженном состоянии. Обладая некоторым тактом и умением, с ним всегда можно совладать и всегда легко направить в какую угодно сторону. А клирики обладали этим тактом и умением в высочайшей степени.

Впрочем в первое время пришлось прибегнуть к помощи и защите гражданских властей.

С одной стороны, общество было слишком эпикуреично, чтобы сделаться аскетом; с другой — слишком удручено бедствиями и несчастьями настоящего, чтобы спокойно примириться с ним в ожидании лучшего будущего. Тогда начались преследования и гонения на язычников, еретиков и евреев. Гонения усиливались и разжигались упорством и противодействием гонимых. Евреи, например, сами, как известно, отличались религиозною не-

терпимостью, с распространением же христианского учения их нетерпимость достигла своего крайнего предела; они постановили, что всякий, кто осмелится перекреститься в христианство, будет побит камнями. В свою очередь Константин, желая противодействовать этой вредной нетерпимости, объявил, что всякий еврей, грозящий побить камнями перекрещенца, будет сожжен на костре и что всякий христианин, перешедший из христианства в иудаизм, будет казнен смертью. С не меньшей жестокостью обращались с еретиками и язычниками: их убивали, мучали, распинали, лишали имущества, от матерей отнимали детей, жен разлучали с мужьями, слуг подучали шпионничать на господ и т. д. и т. д. Все средства были пущены в ход, ни чем не побрезгали. Новый догмат был провозглашен единственно верным и истинным, — вне его не было и не могло быть спасения; всякий, кто упорствовал принимать его, обрекался на вечные муки и страдания; и с этими муками и страданиями не могли сравниться никакие истязания и несчастия земной жизни.

Чтобы показать, до каких крайностей доходила эта вера в непогрешимость и безусловность своего догмата, я приведу небольшой отрывок из одного теологического трактата, появившегося в V веке и пользовавшегося до самой Реформации неоспоримым авторитетом среди всех правоверных. Долгое время думали даже, что автором трактата был блаженный Августин; только недавно доказано, что его сочинил св. Фульгенций (живший в половине V века). Вот что говорится в этом трактате: «Достоверно и несомненно, что не только люди, вполне пользующиеся здравым рассудком, но даже и малые дети, зачатые и умершие в утробе матери или тотчас после рождения, не успев воспринять святого крещения во имя отца, сына и св. духа, будут наказаны вечными муками и огнем неугасимым; потому что они, хотя и не совершили греха по собственной воле, однако самым своим плотским зачатием и рождением они уже повинны в первобытном грехе» (De Fide, § 70). Каким же мукам и страданиям должны подлежать люди совершеннолетние, находящиеся в полном здравом рассудке и осмеливающиеся умышленно или неумышленно уклоняться от догматов этой абсолютной веры!

Немудрено поэтому, что Августин и другие великие столбы христианской церкви требовали обращения язычников в христианство во что бы то ни стало, оправдывали и освящали своим благословением всякие гонения и жестокости. Они верно рассчитали, что лучше временно страдать в этой жизни, чем вечно — в будущей. Если бы даже гонения и не достигали своей цели, то все же они облегчали страдания грешников в загробной жизни. Тот, кто на земле много терпел и страдал, получал право на вознаграждение в небесах. Разумеется при таком аскетическом воззрении на человеческую жизнь крест, плаха и костер считались ступенями к раю. В кодексе Феодосия насчитывалось 66 постановлений против еретиков, кроме бесчисленного множества узаконений против язычников, евреев, апостатов и магов. Кровь всех этих несчастных лилась неиссякаемыми потоками во все продолжение II, III, IV и отчасти V веков. И это чудовищное кровопускание не осталось без последствий. Грешник одумался и обратился на путь истины. Язычество было окончательно побеждено; еретики смолкли, и вся Европа признала неоспоримую непогрешимость католических догматов и покорно распростерлась перед троном папы. Преследования на несколько веков прекратились. Католичество царило везде и над всем единодержавно и безраздельно. Оно вполне гармонировало с потребностями тогдашнего общества; оно проникало во все, так сказать, поры общественной жизни, окрасило своим цветом все учреждения средневековой Европы. Корпорации, гильдии, феодальная система, монархия, даже народные обычаи и общественные удовольствия были взя-

ты под опеку католичества, усвоили себе его мирозерцание, пропитались его тенденциями. При таком настроении общества ереси были немислимы; даже злых духов никто не боялся: все твердо были убеждены, что достаточно одного креста, чтобы прогнать и побороть всю силу ада. Потому колдунов и магов не жгли и не мучали: вселившийся в них дьявол не был опасен правоверному католику. Преследования колдунов и волшебников начались несколькими веками позже; они свидетельствовали уже об ослабшей вере, о начавшихся сомнениях, о пошатнувшейся уверенности в действительность спасительной силы креста и других знамений католической религии.

Безусловное, единодержавное господство католичества над умами и сердцах людей не могло быть однако продолжительно. Европу к великому несчастью католического духовенства нельзя было уединить от всяких посторонних влияний, как какой-нибудь несчастный Парагвай³. Тяжелый умственный паралич, постигший ее после четырехвекового кровопускания, не мог быть вечен. Арабская цивилизация и открытые недостатки римской учены разбудили уснувшую мысль, вызвали ум из его летаргии. Уже в XII в. стали проявляться весьма серьезные симптомы той заразной болезни, которая называется сомнением. Все предвещало близкое пробуждение. Опять понадобился хлороформ; но хлороформ действовал плохо, нужно было снова прибегнуть к кровопусканию.

В 1208 г. Иннокентий III учредил инквизицию. В 1209 г. Де-Монфорт начал резню альбигойцев. В 1215 г. четвертый собор в Латеране пригласил всех правителей публично поклясться, что они в пределах своей власти употребят все зависящие от них усилия для искоренения и уничтожения всех, кого церковь признает еретиком. Иннокентий III издал буллу, в которой угрожал проклятием и отлучением от церкви всякому правителю, холодно относящемуся к делу истребления еретиков.

Жестокость и интенсивность преследований растет обыкновенно пропорционально с развитием догматической стороны религии. В первом веке, когда догма еще не получила никакой определенной формы, когда почти не существовало никакой теологии, когда, следовательно, человеческая мысль и человеческие убеждения не подгонялись насильственно ни под какие внешние нормы, людям не из чего было ссориться, и преследования были невозможны. Но по мере того как верования принимали характер замкнутой, вполне и до малейших подробностей определившейся догмы, уклонения и отступления от правоверия стали встречаться все чаще и чаще и вследствие этого все чаще и чаще представлялись поводы к гонениям и преследованию. По мере того как догма становилась замкнутее и определеннее, ее притязания на абсолютную непогрешимость и всеобщую обязательность делались все неуступчивее и зазорнее. В XII в. развитие догмы достигло своей кульминационной точки; потому нечего удивляться, что и преследования, начавшиеся с этого века, превзошли самые пламенные ожидания и желания св. отцов III и IV веков.

К несчастью или счастью, мы не имеем достаточно достоверных сведений о количестве жертв, погибших в то время под тяжкими ударами католического фанатизма. По дошедшим до нас цифрам мы можем судить только приблизительно, но и этот приблизительный расчет, несмотря на всю свою умеренность и неполноту, кажется почти неправдоподобным. Ллорент, знаменитый секретарь инквизиции, оставивший потомству историю этого божественного учреждения, уверяет, что в одной Испании сожжена инквизицией 31 тыс. человек и 290 тыс. подвергнуто другим менее тяжким наказаниям. Пример Испании возбуждал и поощрял и другие католические нации. Во Франции, Италии, Германии, Швеции, Норвегии, Англии — везде запалили костры во славу и прославление имени бога.

Жгли не одних еретиков, жгли вместе с ними колдунов и магов. Католическая церковь видимо стала бояться дьявола, с которым она так пренебрежительно обращалась в первые века христианства. От слуг дьявола — еретиков и колдунов — теперь перестали открещиваться и обкуриваться: против них направлены были все силы, все могущество католического духовенства. Католическое духовенство, почтенные прелаты и аббаты, с ужасом увидели в дьяволе своего соперника: народ начинал ему сочувствовать и явились даже секты, признавшие его творцом мира; монополия чудес, присвоенная себе аббатами, встретила опасную конкуренцию со стороны магов и колдунов.

Все это объясняет ту невероятную кровожадность, с которою набросилось духовенство на ересь и колдовство. В Нидерландах, по свидетельству Гроция, при Карле X сожжено было до 100 тыс. еретиков; при сыне его Филиппе — по крайней мере вдвое больше. Во время Нидерландского восстания ревность инквизиторов довела их до сумасшествия. 16 февраля 1568 г. Священное судилище обнародовало указ, осуждающий на смерть всех жителей Нидерландов за ересь. Исключения были сделаны только для очень немногих лиц. Через 10 дней королевский декрет подтвердил этот чудовищный указ и повелел немедленно приступить к приведению его в исполнение. Нерон в припадках безумия не мог бы выдумать ничего подобного. Три миллиона мужчин, женщин и детей одним росчерком пера, обрекались на мучительную смерть.

Во Франции преследования велись с меньшим фанатизмом. В Тулузе в одно заседание инквизиции сжигалось иногда до 400 чел., в Треве в один год жгли до 7 тыс.; Бамбергский епископ хвалился, что он в несколько месяцев сжег 6 тыс. еретиков и колдунов; однако епископ Вюрцбургский перещеголял его: он ухитрился в то же время сжечь 8 тыс. чел.

В Италии под непосредственным наблюдением пап так много было пролито человеческой крови, что самое пламенное воображение лютеран, заклятых врагов Рима, не в состоянии было преувеличить числа жертв Священного судилища. Папы предписывали жечь и мучить не только нераскаившихся еретиков, но и еретиков раскаившихся для того, чтобы они показали под пыткой своих соединомышленников. Заметим при этом, что число лиц, публично сожженных, составляет только небольшую долю запятанных инквизицией и оставленных ею без всяких средств к существованию. По общему правилу всякий еретик, попавшийся в когти Священного судилища, лишался прежде всего своего имущества: его жена, дети и ближние родственники оставались нищими; над ним тяготело тяжелое проклятие; никто не осмеливался им подать руку помощи; их выгоняли из городов, им отказывали в куске насущного хлеба. Немудрено, что страх при одном имени инквизиции служил весьма основательною причиною для еретика от души возненавидеть всякую ересь, а для католика — возлюбить католицизм паче самого себя.

С введением лютеранства положение дел несколько не улучшилось. Кальвинисты, лютеране, реформисты и т. п. преследовали своих врагов с такою же яростью, как и завзятые паписты. Стоит вспомнить только гонения, воздвигнутые на папистов в Англии и при господстве лютеранской партии на католиков во Франции и в Швейцарии, чтобы разубедиться в голубиной кротости врагов католической инквизиции и католического терроризма. Реформация, казалось, окончательно затопит Европу в человеческой крови. Суеверия не уменьшались, религиозная ненависть воспламенялась в религиозных войнах, нетерпимость и исключительность сектаторов доходила до умопомешательства. И если мы представим теперь себе в общей картине все те ужасные, невыносимые физические и нравственные страдания, которым без усталости подвергали несколько поколений сряду, все

те истязания, которыми систематически уродовали и притупляли людей, все те хитрые выдумки, которыми обманывали и опутывали их ум, экзальтировали их воображение, извращали их нравственность и т. п., если мы вспомним, как во славу бога опустошались плодоноснейшие местности Европы и наполнялись человеческой кровью бесплодные и истощенные поля Испании, Англии и Германии, если мы вспомним все это, — то невольно придем к тому убеждению, что ни одна вера не причинила человечеству столько зла и страдания, сколько причинила ему католическая религия.

II

Кровоопускание, начатое с XII в., казалось, окончательно истощит Европу. Казалось, дух религиозной нетерпимости и религиозного фанатизма со всеми его уродливыми последствиями никогда ее не покинет; казалось, он будет парить над нею до тех пор, пока ее поля не превратятся в бесплодные пустыни, а ее жители в тупых, бессловесных рабов. Так казалось, и так действительно бы и случилось, если бы религиозный интерес был единственным интересом человеческой жизни, если бы религиозный вопрос был единственным вопросом, занимающим людей. Но, к счастью для человеческого рода, это не так. Рядом с интересами и вопросами чисто религиозными живут и развиваются вопросы и интересы чисто экономические. Эти вопросы, сводящиеся в конце концов к вопросу о хле-

[illegible]

Aug. 26 1882

Henry H. H. H.

Пословникъ

Министерство Правосудия Императорского

ПОКАЗАНИЯ П. Н. ТКАЧЕВА НА ДОЗНАНИИ ПО НЕЧАЕВСКОМУ ДЕЛУ
Центрархив СССР, Москва

бе насущном, эти интересы, в общем результате вполне и безусловно господствующие над человеком, не только не подчинились всепоглощающему влиянию интересов и вопросов первого рода, но, напротив, сами подчинили их своему влиянию, окрасили их в свой цвет и окончательно подорвали их кредит у большинства людей. Экономические принципы, легшие в основу средневекового общества, медленно и постепенно развиваясь, перестроили это общество, убили феодализм, расчистили дорогу современной буржуазии и, как песок, разметали и развеяли самые закостенелые предрассудки и суеверия, которых, казалось, не одолее никакая логика мыслителя и никакая диалектика проповедника. Экономические причины, как мы видели, создали и поддерживали все те грубые нелепости, которые в течение стольких веков мучили и тиранили человеческий ум, — эти же экономические причины устранили и уничтожили все эти нелепости, когда прошла в них надобность. То, что не могла сделать «вся мудрость» всех мудрецов и все красноречие проповедников, то сделал один экономический интерес. И это весьма понятно. Аналогичные явления ежечасно совершаются на наших глазах, и они никого из нас не удивляют и не смущают; мы даже привыкли оценивать слова и поступки окружающих нас людей с точки зрения экономического расчета. И такая оценка в большинстве случаев всегда оказывается верною, потому что большинство людей всегда действует не по возвышенным принципам, не по отвлеченным идеям, а по простому расчету. Когда помещик дает крестьянину безвозмездно землю сверх установленного надела, когда фабрикант уступает рабочим известный процент с барыша, когда купец понижает цену на товар, когда англичане выкупали рабов в своих колониях, когда римские патриции освобождали своих невольников, а английские бароны — своих крепостных, — тогда, поверьте, двигающими стимулами были не филантропия, не любовь к человечеству, не какие-нибудь гуманные стремления, а простой арифметический расчет, и ничего более. Как бы вы трогательно ни убеждали рабовладельца в несправедливости и бесчеловечности рабства, он не освободит своих рабов, пока на опыте не убедится, что рабский труд невыгоден и что вольнонаемный выгоднее. То же самое случилось и в средние века. Как бы убедительно ни доказывали средневековому человеку, что все секты и религии заслуживают одинакового уважения, что все они равны перед богом, что глупо и нелепо считать себя непогрешимым, что бесчеловечно и возмутительно тиранить и мучить людей за несходство во мнениях и т. д., средневековый человек все бы это выслушал и ничем бы этим не тронулся и не убедился. Он попрежнему остался бы фанатиком и суевером, попрежнему складывал бы костер для еретика, шпионил бы инквизиции и лобызал туфлю папы. Но чуть только требования его фанатизма стали в противоречие с требованиями его личного расчета, его экономического интереса, сейчас же фанатизм испарился, и человек пришел в свое нормальное положение и начал говорить и действовать по-человечески.

Блестящим подтверждением этой истины, к несчастью еще не достаточно понятой и оцененной нашими историками, служит история борьбы промышленных, торговых интересов с интересами теологическими, религиозными, борьба буржуазии с католицизмом.

При начале резкая противоположность этих двух интересов не бросалась в глаза; казалось даже, что оба интереса соединены между собою несколькими узами родства. Всякое коммерческое предприятие имело обыкновенно в виду какую-нибудь и религиозную цель; торговые экспедиции были вместе и миссиями; миссии — торговыми экспедициями. Крестовые походы, несмотря на свой чисто религиозный характер, дали сильный толчок торговой и промышленной деятельности итальянских городов.

В свою очередь и они обязаны не малою долею своего успеха содействию торговых республик. Купцы из Амальфи первые проложили дорогу для христиан в Иерусалим; они же вместе с некоторыми другими итальянскими республиками снабжали крестоносцев оружием, кораблями, одеждою и съестными припасами. На монетах Венецианской республики было выбито изображение Христа; а флорентийские купцы наложили добровольно пошлину на изделия своих шерстяных мануфактур для того, чтобы собранные таким образом деньги употребить на сооружение великолепного кафедрального собора, служащего и по сию пору одним из лучших украшений города. Все эти и им подобные факты свидетельствовали, повидимому, о трогательном согласии торгового интереса с интересами католичества; казалось, что с этой стороны папскому авторитету не грозит никакая опасность. Однако последующие события доказали совершенно противоположное. Везде, где промышленный интерес являлся преобладающим интересом, он сталкивался с католическою догмою, отважно вступал с нею в борьбу и принуждал ее к постыдным уступкам. Поле победы всегда оставалось в его руках.

Первый вопрос, по которому произошло столкновение промышленного интереса с учением церкви, был вопрос о процентах.

Церковь в лице всех своих писателей и проповедников горячо восставала против обыкновения брать плату за кредит; кредитора, отдающего деньги под проценты, она презрительно называла ростовщиком, барышником и приравнивала к вору. Соборы св. отцов издавали против ростовщиков грозные послания, в которых им грозились проклятием и отлучением от церкви; канонические кодексы наполнены были самыми строгими запрещениями роста и драконовскими постановлениями против барышников. Церковь имела на этот счет свою политическую экономию. Она рассуждала так: деньги «бесплодны по своей сущности», они не имеют той творческой силы, какую имеет например земля, человеческий труд и т. п.; десять монет известного достоинства всегда останутся 10 монетами этого достоинства; из них нельзя сделать ни 8, ни 12, не изменяя их внутренней ценности. Потому всякий человек, имеющий 10 монет и желающий сделать из них 11 или 12, идет против законов природы и против воли бога. Если он, пользуясь нуждою своего ближнего, дает ему займы эти десять монет, требуя от него взамен их 11, то он совершает преступление против заповедей христовых, воспреещающих обман и воровство: он подлежит такому же наказанию, как вор и убийца. В нравственном отношении ростовщик, с точки зрения отцов церкви, был даже ниже вора. Вор, совершая преступление, сознает преступность своего действия, потому он действует крадучись, как бы стыдясь своего дела, он боится света, он предпочитает тьму ночи, тайные, уединенные места — местам открытым и людным. Значит в его сердце еще не совсем изгладилось понятие о добре и зле, значит он может покаяться и возвратиться на путь истинный. Ростовщик же не прячется и не скрывается; он грабительствует явно и открыто; он заключает с заемщиком свой предательский договор при свете солнца; он как будто не сознает позорности своего ремесла; дьявол окончательно поработил себе его душу и изгладил в ней врожденные понятия о добре и зле. Общее чувство всех народов клеймило ростовщиков печатью позора и отвержения, это, по мнению св. отцов, служит лучшим доказательством и подтверждением их доктрины. Заем, по их мнению, состоит в том, что один человек дает другому во временное пользование известную сумму денег с обязательством возвратить по прошествии условленного времени эти деньги безо всякого вычета и безо всякой прибавки. Требовать прибавки — значит требовать милостыни; вынуждать ее — значит открыто грабительствовать.

Такова была простая несложная теория кредита, выработанная Луктантием и повторенная вслед за ним всеми средневековыми моралистами и экономистами в черных рясах. Разумеется мы изложили здесь только одну ее, так сказать, научную, теоретическую сторону; отцы же церкви напирали главным образом совсем не на нее, а на сторону догматическую, религиозную. В их глазах доводы человеческого разума и человеческой логики имели значение только второстепенное; разум и логика были весьма доступными обаянию и прельщению дьявола, а потому на их свидетельства нельзя было вполне положиться. Гораздо важнее и достовернее были свидетельства священного писания, постановления вселенских соборов и толкования св. отцов церкви. Их авторитет был безапелляционен и их положения были неопровержимыми доказательствами. Из этих-то вот непогрешимых источников черпали теологи обильною рукою тексты и доводы против ростовщиков. Цитируемые ими места — по преимуществу из книги Левит и Второзакония, из книги пророка Иезекииля и из евангелия апостола Луки — были в большей части случаев ясны и определены: они не оставляли ни малейшего сомнения относительно взгляда христианства на процент; христианство отвергало его как воровство, и учения, взявшие его впоследствии под свою защиту, самым решительным образом противоречили христианской ортодоксии.

Эта ортодоксальная теория кредита служит лучшим доказательством той уже несколько раз высказанной нами истины, что господствующая философия, религия и наука есть не более не менее как зеркало, в котором с математическою точностью отражаются и повторяются экономические потребности данного времени и народа. Достаточно бросить самый поверхностный взгляд на экономический быт общества в тот момент, когда возникло и укрепилось православное учение о кредите, чтобы сейчас же убедиться, что это учение было только отражением данного экономического status quo.

Господствующим интересом был в то время интерес землевладельческий. Землевладелец же, обрабатывая свои поля посредством крепостного, полусвободного труда, не имел ни малейшей нужды в капитале; крепостные отбывали урочную барщину и взамен того имели право три дня работать на себя.

Не нуждаясь в капитале для платы рабочим, феодал еще менее нуждался в нем в своем домашнем хозяйстве. Крепостные доставляли ему решительно все, в чем он мог чувствовать потребность. Они добывали и приготавливали ему пищу и питье, ткали одежду, строили дома, служили ему и охраняли его. За все эти услуги они получали плату в натуре — в виде хлеба, овса, лошадей, клочка земли и т. п. И так как каждый феодал в своем домашнем хозяйстве находил полное удовлетворение всех своих потребностей, то не только не чувствовалось надобности в деньгах, но даже и самый обмен считался совершенно излишним. При отсутствии же потребности в обмене не могло существовать и торговли; промышленность имела чисто домашний характер и не требовала никаких капиталов; крепостные шили, строгали, ткали, плели и т. п., получая за работу натурой и употребляя на производство сырые продукты, добытые их же собственным крепостным трудом.

Таким образом капитал, деньги не играли никакой роли в феодальном хозяйстве, потому и за пользование ими никому не могло притти в голову что-либо платить. Когда же мануфактурная промышленность из замков феодалов стала переходить в города, когда еврейские купцы вступили в торговые сношения с Азией, когда, одним словом, город стал постепенно высвобождаться из-под феодального ига, тогда в первый раз капитал выступил на сцену исторической жизни. Как все богатства феодала за-

ключались в земле и крепостном труде, так точно все богатство торговца и городского промышленника заключалось в капитале. С ужасом увидел феодал из своего укрепленного замка, что там, на юге, у него является новый соперник, что этот соперник скоро поспорит с ним в силе и богатстве, что короли и могущественные князья начинают почтительно снимать перед ним свои шляпы и что даже он, владетельный барон, нередко должен унижаться и заискивать перед этим плебейским выскочкой.

Всего досаднее было для барона, что этот выскочка не имел повидимому ни малейшего права пользоваться тем почетом, который ему начинали со всех сторон оказывать. Он не имел за собой подлинной родословной, громких титулов, свое право на самостоятельность он купил на его же глазах у его сюзерена короля. У него не было ни покорных вассалов, ни крепостных, ни земель, — ничего, чем гордился феодал, что составляло источник его силы и могущества. У него были только деньги, именно то, чего не имел феодал; и эти деньги он сделал орудием своего величия, в этих деньгах лежало его право, его закон, его сила. Это было новостью в феодальном мире. Феодальное хозяйство, как мы видели, обходилось совершенно без денег, и потому феодалы не ценили денег; и вдруг деньги приобретают неслыханное значение и начинают высказывать явное стремление поработить своей золотой власти железное могущество гордых баронов. Можете себе представить, каким благородным негодованием должны были воспылать благородные бароны при виде такой неожиданной дерзости!

«Это подло, это неблагородно; великий Аристотель сказал, что «деньги бесплодны по своей сущности», как же могут они наживаться с помощью денег? Значит они воруют, значит они грабительствуют? Да разразят их громы небесные!» «Да разразят их громы небесные», хором повторило католическое духовенство и начало приписывать тексты из св. писания. Может быть католическое духовенство и феодалы были не совсем далеки от истины, когда они поносили ростовщиков постыдным прозвищем вора и грабителя. Но они были совсем не правы, когда вздумали кичиться перед ними своею якобы чистотою и честностью. Если, с ортодоксальной точки зрения, несправедливо было брать с бедняка деньги за оказанную ему услугу (как делали ростовщики), то едва ли было справедливее обирать бедняка до чиста, не оказав ему никакой услуги (как это делали феодалы). Если, с ортодоксальной точки зрения, нечестно было жать там, где ничего не сеяли, то едва ли было честнее пользоваться плодами там, где и не сеял и не жал. Если ростовщик поступал с займодавцем, как вор и мошенник (по понятию церкви), то феодал поступал со своими вассалами и крепостными, как грабитель и разбойник. Если ортодоксия допускала премию за землю, которую владелец приобрел и возделал не своим трудом, то было ли последовательно с ее стороны отвергать премию за капитал, приобретенный и пущенный в обороты не трудом капиталиста?

При наших теперешних экономических знаниях мы не поколеблемся дать отрицательный ответ на этот немудреный вопрос. Католицизм, желая подслужиться феодализму, впал в противоречие с самим собою. И на этом поразительном примере легче всего убедиться, как сильно отражается влияние господствующего экономического интереса даже и на таких возвышенных и повидимому совершенно чуждых практической рутине предметах, каким был католицизм.

Сами теологи догадывались, что дело их не совсем ладно и что они как будто сами себе противоречат. Если за пользование деньгами нельзя взимать никакой платы, то почему же помещики взимают ее с своих крестьян, давая им в пользование своих лошадей, коров или своих жилища?

Против права помещика никогда не восставал ни один теолог. На каком же основании восстает он против права ростовщика? Вопрос был весьма щекотливый; противоречие было повидимому неразрешимо. Но средневековая метафизика умела решать щекотливые вопросы и не боялась никаких противоречий, особенно когда в деле были замешаны дорогие интересы католицизма. Великий метафизик феодальной Европы, сам Фома Аквинат, взялся за решение этого казалось рокового для теологов вопроса; с помощью своей несравненной аргументации он доказал, что противоречие есть тождество и что дважды два не четыре, а пять. Ссуда денег и отдача лошади в пользование, рассуждал он, две вещи совершенно разные. Пользование лошадью мысленно может быть отделено от самой этой лошади. Человек взял лошадь на время, по истечении этого времени он должен возвратить ее хозяину в том виде, в каком получил: но кроме того, что он имел лошадь, он еще и пользовался ею, а так как пользоваться лошадью и иметь лошадь — две вещи различные, то он и должен заплатить хозяину за пользование его лошадью особую плату. Совсем не то с деньгами; сами по себе они не имеют никакой цены, идею денег никоим образом нельзя отделить от идеи пользования деньгами. Тот, кто занимает деньги, занимает собственно только известную возможность приобрести известные ценности; потому все, что от него имеет право требовать кредитор, это — возвращение ему той же самой возможности приобрести те же ценности. Требовать больше — значит требовать несправедливого.

С помощью таких-то хитрых аргументаций теологи старались защитить себя от упрека в холопстве и доказать свою полную независимость от господствовавшего экономического интереса.

Не напоминают ли тебе, читатель, эти средневековые теологи наших современных экономистов и юристов? Та же ясная аргументация, та же логика и та же самоуверенность!

Кроме причин, указанных выше, феодалы имели еще и другие специальные побуждения ненавидеть ростовщиков и отрицать их теорию процента как безбожную ересь. Феодалы любили воевать, хорошо кушать и веселопировать: крепостной и вообще барщинный труд не способствовал преуспеванию сельского хозяйства; с каждым годом доходы баронов уменьшались, а расходы удесят�лялись; нужно было чем-нибудь покрывать дефицит. Чем же? Уменьшить расходы — но это значило бы добровольно отказаться от всякого политического веса и могущества, от политической самостоятельности и превратиться в холопа предержащей власти. Моги на это согласиться гордый барон? Улучшить сельское хозяйство? Но разве это было возможно при тогдашнем агрономическом невежестве и при тогдашних отношениях землевладельца к земледельцу? Оставалось одно средство: прибегнуть к займу. И к этому-то средству и обратились теперь феодалы. Занимать пришлось у тех же презренных горожан — купцов и промышленников. Купцы и промышленники воспользовались этим случаем, чтобы применить к практике свою теорию процента. Понятно, что такая наглость и такое неуважение к авторитету Аристотеля не могли не раздражить благородных баронов. И разумеется те из них, которым чаще других приходилось испытывать на себе практические последствия этой пагубной и безбожной теории, сильнее всего ненавидели и презирали ростовщиков. А чаще других страдали от нее те могущественные бароны, которые более других любили воевать и жить с комфортом; это были короли и владетельные князья. Назойливость кредиторов была им до крайности несносна. Чтобы избавиться от неприятной обязанности платить условные проценты, они обратились под защиту вселенских соборов и св. отцов. Теологи порадовались благочестию сильных мира сего

и поставили себе в особенное удовольствие оказать им со своей стороны требуемую услугу. Все это так понятно и так естественно! Услугу оказать было тем еще легче, что кредиторами являлись обыкновенные евреи. Евреи были в то время самыми выдающимися представителями торгово-промышленного интереса. Во многих местах вся торговля и промышленность края находилась исключительно в их руках. Это обстоятельство придало какой-то религиозный оттенок экономической борьбе землевладельческого и промышленного интересов и в значительной степени усилило и подогрело тот тупоумный фанатизм, с которым гнали и преследовали евреев во все продолжение средних веков. Католическое духовенство непременно извлечь из этого факта благоприятный для себя вывод. Ростовщичеством занимались евреи — вот новое доказательство безбожности процента. Евреи занимались ростовщичеством — вот новое доказательство богопротивности этой секты. Гражданские власти не должны дремать; они не должны терпеть, чтобы в их владениях благоденствовали ростовщики; они не должны терпеть евреев. А гражданские власти того только и хотели. Ниже мы увидим, куда завлекло их благочестивое рвение отомстить жидам за распятого Христа.

Итак учение о процентах было решительно противно католической ортодоксии. Ни один ученый, ни один теолог не осмелились замолвить за него полсловечка.

Но то, что не осмелился сделать ни один ученый и ни один мыслитель, то сделал экономический интерес. Та же экономическая рутина, которая вдохнула в католицизм столько ненависти к проценту, заставила его впоследствии помириться с ростовщиком, протянуть ему по-братски руку и отречься от прежних ссылок и авторитетов.

Как ни злобствовали феодалы на горожан, а все же город рос и укреплялся, не обращая никакого внимания на их бессильное негодование. Короли вступили с ним в союз, и феодалы незаметно начали регистрироваться на задний план — в передние и прихожие владетельных князей. С развитием города росла торговля и совершенствовалась мануфактурная и ремесленная промышленность; расширялись денежные обороты; усиливался обмен капиталов. Кредит становился делом обыденным; им торговали теперь не только одни евреи, но и христианнейшие из христиан; само духовенство начало постигать выгодность этой торговли; и монастыри, и богатые аббаты, и духовные ордена, забыв Моисея, Иезекииля и Луку, стали мало-помалу поддаваться лукавому искушению. А если уже духовные ставили ни во что свои же собственные авторитеты, то чего можно было ожидать от мирян? И вот обычной давать деньги под процент уже в XII в. делается почти всеобщим. Этот факт с прискорбием признается третьим собором в Латеране, созванным папою Александром III в 1179 г.

Таким образом практика начала уже подкапываться в одном пункте под католический догмат. И догмат увидел себя в необходимости уступить. Теологи начали теперь толковать, что в некоторых случаях дозвоительно брать процент: именно в тех, когда капитал, ссужаемый в займы, отвлекается от какого-нибудь выгодного предприятия, приносящего доход кредитору. В этих случаях кредитор имеет право требовать от должника известного вознаграждения — в виде процента — за тот убыток, который он причиняет себе, ссужая свои деньги заемщику.

Мало того: Лев X дошел до того, что формально, папскою буллою, признал за кредитором право взимать небольшой процент с заемщика *.

* Бернардин Фельтрский основал в Италии кредитные общества (Monti di Pietà) для доставления нуждающимся дарового кредита. Общества были основаны в противодействие евреям, дравшим с бедных чисто жидовские проценты. Однако ско-

Эта булла таким образом первый раз устанавливает различие между большим и маленьким процентом. До сих пор католическая догма отрицала процент в самом принципе, независимо от того, велик он или мал. Допуская же теперь малый процент, она этим самым отказывалась от своего прежнего отрицания; она становилась на точку зрения тех благонамеренных экономистов, которые признают справедливость процента, но отвергают ростовщичество.

Впрочем она не осмелилась открыто сознаться в своей уступке. Дозволяя брать маленький процент, смотря сквозь пальцы на ростовщичество мирян и духовенства, она все еще делала вид, будто по этому вопросу строго придерживается писаний отцов церкви. Так дело шло до Реформации. Реформация, затеянная и поддерживаемая промышленными классами в отпор феодализму и католицизму, открыто признала законность процента. Кальвин подкрепил учение ростовщиков текстами из священного писания, а Самазий (или Салмазиус), экономист начала XIII в., написавший в защиту процента целых три книги, облек это учение в научную форму. Его взгляды мало-помалу вошли в общественное сознание и незаметным образом изгладили из умов людей ортодоксальные предрассудки католичества относительно роста и ростовщиков.

Католики очень скоро усвоили себе на этот счет лютеранские воззрения. Во избежание строгих канонических постановлений выдуманно различие между ростом, барышничеством и процентом. Все тексты и соборные решения, направленные против отдачи денег за плату, были перетолкованы в смысле осуждения барышничества, а не процента как простой платы за услугу.

Казуистика иезуитов старалась теперь подвести случаи, упомянутые в канонах, под понятие процента и поставить их таким образом вне сферы духовной юрисдикции. В начале XVIII в. три профессора Ингольштадтского университета пошли еще дальше: они стали уверять, что даже и некоторые формы барышничества могут быть без вреда и греха разрешены церковью, если только их терпит гражданская власть. И действительно на практике ростовщичество с каждым днем усиливалось и развивалось. Гражданская власть узаконила его, ограничив известными нормами. Скоро экономисты и против этих-то норм восстали: они требовали во имя будто бы истины и экономической правды полной свободы роста, отмены всяких правительственных стеснений и ограничений. Итак практика обошла догмат. Надо заметить при этом, что самый-то догмат, с внешней по крайней мере стороны, остался почти без изменения. Постановления вселенских соборов, тексты св. писания, толкования святых отцов — все осталось нетронутым, но никто уже не придавал им никакого значения; никто их даже не опровергал: их просто обходили молчанием.

III

Мы видели, какую чудовищную нетерпимостью и исключительностью заявил себя католический догмат. Он грозил муками ада даже утробному младенцу, даже мертворожденному ребенку; он признавал себя непогрешимым и не хотел верить, чтобы кто-нибудь мог искренне сомневаться в истинности его символа. Католицизм или пытка и смерть — таков был его девиз. Тою же нетерпимостью и исключительностью отличались и другие религиозные секты; все они видели спасение только в одном своем вероучении; вне этого вероучения все было ложью и безбожничеством; лучше смерть, чем ересь!

по они уклонились от своего первоначального плана и стали брать с своих заемщиков небольшой процент. По этому-то случаю Лев и издал свою буллу, которою признавал за ними право на этот процент. (Примечание П. Ткачева).

Записка эта была написана
Ткачевым перед побегом за
границу с целью снять с Де-
ментьевой подозрение в том,
что ей был известен его
замысел

Центрархив СССР, Москва

Meus Caros, me
 deus, que me
 amigos do futuro, e
 por parte, e
 todos os, e
 e que me
 um novo
 novo
 F. de S. 20/3

Но в это-то время — время всеобщего мракобесия и невежества — в экономической жизни народа совершались такие изменения, которые постепенно приучили людей к терпимости и снисходительности в религиоз-

ных делах и таким образом подорвали веру человечества в непогрешимость догмата, подорвали авторитет католической церкви. Опять повторяю: то, на что не осмеливался покушаться ни один мыслитель, что, казалось, не могла одолеть никакая диалектика атеиста, то одолел и победил простой экономический расчет. Экономический интерес совершенно незаметно для самих людей изменил их взгляды на один из существеннейших вопросов католической догмы и разрушил один из пагубнейших предрассудков, стоивших человечеству рек крови и многих миллионов мучеников.

Могущественным экономическим рычагом, перевернувшим верования людей, была торговля, сблизившая и объединившая одними общими интересами людей различных национальностей и различных религиозных сект. Развитие городской промышленности и крестовые походы дали сильный толчок торговой предприимчивости европейцев. Забыв религиозные предрассудки, католик завязал тесную дружбу с мухаметанином и повел общие счета с православным греком. Между народами Европы и Азии начали устанавливаться правильные, разумные отношения, основанные не на небесных, а на чисто земных торговых интересах. В Сирию назначены были европейские консулы; в европейских городах рядом с папским нунцием — представителем католического интереса — стали появляться дипломатические агенты — представители торгового интереса. Символ веры, исповедуемый людьми той или другой нации, той или другой секты, перестал играть главную роль в человеческих отношениях; на него перестали обращать серьезное внимание. Венецианскому купцу мало было дела до того, во что верует мухаметанин, лишь бы торговал он с ним хорошо и честно. Здесь, на торговом поприще, люди в первый раз встретились между собой не как православный с мухаметанином, католик с лютеранином и т. п., а как торговец с торговцем, продающий с покупающим, как экономические производители, как рабочие, а не как религиозные сектанты. Такая встреча оказала важное влияние на дальнейшее развитие человеческой мысли, на высвобождение человеческого ума из-под гнета католической догмы.

Как только человек известной религиозной партии пришел к убеждению, что его партия не обладает монополией ума и добродетели, что и люди противоположных партий защищают свои мнения с неменьшей, чем он, основательностью и энергиею, проводят их в жизнь с неменьшею безупречностью и настойчивостью, как только он увидел, что эти мнения совсем не так бессмысленны и нелепы, как ему казалось издали, что они имеют известную точку опоры, что они объединены общим принципом, что они представляют нечто связанное, последовательное, гармоническое, он перестал относиться к ним высокомерно, он начал их выслушивать и обсуждать. А тот, кто снисходит до терпеливого выслушивания и обсуждения чужих мнений, до сличения и сопоставления их со своими собственными, тот уже потерял веру в свою непогрешимость. Торговля, сблизившая людей, явилась таким образом первым проводником терпимости и если не первым, то по крайней мере опаснейшим врагом католической догмы. Она, как мы видели, способствовала расширению умственного кругозора людей, она же и гуманизировала, смягчала, их отношения друг к другу. Католическое духовенство, желая постоянно поддерживать веру в свою непогрешимость, т. е. распалая и поджигать религиозную нетерпимость, старалось выставить не-католиков людьми порочными, безнравственными и т. п. Расчет его был верен. Неразвитые люди судят обыкновенно о достоинствах принципа по личным свойствам людей, проповедующих и поддерживающих этот принцип. Хорош человек — хороши значит и идеи, им проповедываемые; худ человек — и идеи его значит никуда не годятся. Другого критерия для оценки человеческих убеждений неразвитое большин-

ство не имеет и не может иметь. Этим-то счастливым обстоятельством и воспользовалось католическое духовенство, в ход была пущена та нехитрая тактика, которая вероятно хорошо известна русским читателям по приемам некоторых из наших отечественных полемизаторов и беллетристов. Против людей, имевших несчастье исповедывать убеждения, не похожие на их собственные убеждения, были рассеваемы самые возмутительные клеветы, самые недобросовестные выдумки. Их обвиняли в безбожии, в циническом отношении ко всему, что люди привыкли считать священным, во лжи, мошенничестве, трусости, подлости и т. д. и т. д. Клеветам верили, потому что никто не мог опровергнуть их фактами. Крестовые походы, сблизив две совершенно противоположные секты, положили конец недостойным выдумкам католических попов. Правоверные католики вступили в тесные дружественные связи с греками и мухаметанами, в то же время по мере развития европейской промышленности и торговли изменился их взгляд и на евреев, история преследования которых лежит неизгладимым, кровавым пятном на черных рясах их духовных пастырей.

Преследования евреев начались с того момента, когда христианство завладело кормилом гражданской власти, и продолжались почти вплоть до Французской революции — окончательной победы торгово-промышленного интереса над феодально-католическим.

В этот длинный промежуток времени их мучили и убивали тысячами при всяком удобном и неудобном случае. Взойдет ли на престол какой-нибудь благочестивый монарх, сейчас он начинает заявлять о своем благочестии избиениями «жидов». Удастся ли какому-нибудь монарху возбудить религиозное чувство народа, народ сейчас же вспоминает о грехе Пилата и Каиафы, и евреи своими спинами и головами отвечают за ошибки своих предков. Феодосий, св. Людовик и Изабелла Католическая, три самые благочестивые монарха дореформационного периода, собор в Латеране, возбудивший религиозное рвение в XIII в., и папа Павел IV — в XVI, наконец все религиозные ордена принадлежали к числу яростнейших гонителей и преследователей евреев. Употреблены были всевозможные меры для того, чтобы отделить их от всех прочих православных⁴ людей, чтобы заклеить их печатью вечного позора и предать их всеобщему посмеянию. Их заставляли носить особенные, уродливые одежды и жить в отдельных кварталах; христианин не мог вступать с ним ни в какие дела; не мог есть с ним за одним столом; не мог купаться в одной с ним купальне; лечиться у одного с ним доктора; не мог вести с ним торговли. Родниться с евреем считалось величайшим грехом; и Людовик святой сжег даже одного христианина за то, что тот осмелился иметь связь с еврейкой. Даже и в наказаниях-то еврея отличали от православного; до XIV ст. их вешали не иначе, как между двумя собаками вниз головой. По учению Фомы Аквината все имущество евреев может быть всегда конфисковано, потому что оно приобретено нечестным путем — ростовщичеством; если же до сих пор этим не пользовались и если им дозволялось беспрепятственно заниматься ростовщичеством, то это происходило оттого, что они были так грешны, что уже никакой новый грех не мог увеличить их греховности.

Оскорбляемые, ограбленные, ненавидимые и презираемые, изгнанные из Англии Эдуардом, из Франции — Карлом VI, они нашли себе приют только у испанских мавров. Мавры были народом слишком деятельным и торговым, чтобы обращать много внимания на верования людей, кроме того они чувствовали некоторое сходство с чистым монотеизмом евреев, составлявшим такую резкую противоположность с плохо замаскированным политеизмом испанских католиков. И гений евреев не мало способствовал блеску этой великолепной цивилизации, оказавшей благотворное влияние на развитие европейской мысли. Но не долго однако могли ук-

рываться евреи под крылышком мавританских правителей. Крест победил луну, и евреи лишились своего последнего прибежища. Изгнание и ограбление их было решено в умах благочестивых католиков. Духовенство распаляло народные страсти, поджигало его дикий фанатизм. В 1390 г., почти за сто лет до взятия Гренады, севильские католики до того были возбуждены красноречием одного великого проповедника по имени Гернандо Мартинеца, что бросились на еврейский квартал и избили 4 тыс. евреев, сам Мартинец предводительствовал толпою. Через год после этого избияния и отчасти под влиянием того же самого красноречивого пастыря такие же избияния произошли в Валенсии, Кордове, Бургосе, Толедо и Барселоне.

Св. Винсент де Феррио, потрясавший всю Испанию своими пламенными проповедями, специально занимался одними евреями. Народ, наэкзальтированный этим невежественным фанатиком, насильно перекрещивал евреев в католицизм, без счету убивая всех колеблющихся и упорствующих. С учреждением инквизиции положение несчастных мучеников католического фанатизма еще более ухудшилось. Стали убивать и мучить не только необращенных, но и обращенных, в том предположении, что обращение их было вероятно не совсем искренне. Но всего этого оказалось недостаточно для удовлетворения благочестивой ревности набожных людей. Они добивались окончательного изгнания из Испании всех необращенных евреев. Эту дикую меру посоветовал, говорят, Изабелле отец инквизиции Торквемадо. Сначала королева колебалась: евреи предложили ей 30 тыс. дукатов за право жить под прекрасным небом Испании, освещенным постоянным заревом костров инквизиции. Бес корыстолюбия вселился было в сердце набожной королевы. Но Торквемадо одолел беса своею удивительною находчивостью. «Королева, — сказал он ей, — Иуда продал Христа за 30 сребренников; вы хотите продать его за 30 тысяч». Пораженная этим неожиданным обличением Изабелла на все дала свое согласие. В три месяца предписано было всем необращенным евреям оставить Испанию; число же этих необращенных простиралось, по свидетельству некоторых историков, до 420 тыс. Изгоняемым воспрещалось увозить с собою испанское золото и серебро; а так как почти все их богатство и заключалось главным образом в деньгах, то они должны были покинуть берега Испании почти нищими. Потому нет ничего удивительного, что большинство их умерло голодною смертью. Умершие впрочем могли еще считать себя сравнительно счастливыми. Живых постигла худшая участь. Одни из них попались в плен к морским пиратам, крейсировавшим около испанских берегов, и были обращены в рабство, другие попали в руки африканских дикарей и были замучены ими до смерти, третьих буря выкинула снова на испанский берег, и там их ждал костер. До 80 тыс. бежало в Португалию, положившись на обещания короля. Но испанцы и здесь не оставили их в покое. Наряжена была особая миссия для обращения евреев в христианство, и в самом непродолжительном времени португальцы благодаря миссионерам воспылали к евреям такую благородную ненавистью, что португальский король последовал примеру Изабеллы и даже превзошел ее: все совершеннолетние евреи были изгнаны из Португалии, дети же их, не достигшие 14-летнего возраста, были отняты от родителей, обращены в христианство и отданы в рабство португальским католикам. Чаша горечи переполнилась. Суровая стойкость, с которою до сих пор вытерпивал этот мученик-народ невероятные жестокости своих неистовых мучителей, наконец лопнула. Последнее испытание сломило его выносливость, им овладела агония отчаяния. Раздирающие крики мучеников огласили всю страну. Матери сами убивали своих детей, чтобы только они не достались в руки палачей. Когда же пришла минута отъезда, португальцы

с умыслом остановили корабли. Несчастные не успели отчалить от берегов в назначенный час, этим воспользовались их палачи, и евреев задержали и обратили в рабство. Впоследствии они благодаря заступничеству папы были отпущены на свободу, но детей они уже больше никогда не видели. Торжество попов было полное: их благочестие победило, и враги Христа восприяли достойное наказание.

Героизм всех других сектантов бледнеет и померкает перед героизмом этого великого народа, народа, который в течение тринадцати веков подвергался невыносимым мучениям, грабительству и истязанию, который скорее решился вытерпеть все, что может только изобрести злобный фанатизм ханжей, чем отказаться от своей веры. Заметим при этом, что евреи совсем не были аскетами вроде католических монахов, отречшихся от жизни и ее наслаждений. Нет, они жили полною жизнью, они вполне ценили ее блага и пользовались ими, насколько это было в их власти. Евреи не были также мечтательными энтузиастами, они действовали не под влиянием экстаза, который, как известно, нередко придает мученику сверхчеловеческую силу и делает его нечувствительным к физическим страданиям. Их энергия была постоянна и непреклонна, ее не могли одолеть ни мелкие житейские дразни, ни жестокие преследования. Их гений ни на минуту не ослабевал и не падал перед бессмысленною силою тупого фанатизма. В то время, когда вокруг них все было погружено в самое безнадежное невежество, когда выдуманные чудеса и различные священные реликвии служили постоянными темами для нескончаемых препирательств целой Европы, когда человеческий ум, опутанный и оплетенный бесчисленными суевериями, находился как бы в параличном состоянии, не способный ни самостоятельно думать, ни самостоятельно исследовать,— в это время одни евреи безбоязненно и неуклонно шли по пути умственного развития, постепенно расширяя свои знания и отыскивая истину с тою же смелостью, с какою они защищали свою веру. Среди них постоянно появлялись самые искусные доктора, самые изворотливые финансисты, самые глубокомыслящие философы; они же одни занимались изучением естественных наук и знакомили Западную Европу с арабскою цивилизациею. Но разумеется самая важная заслуга их состояла в том, что они постоянно поддерживали и оживляли торговую деятельность европейцев. Одно время они были главнейшими представителями торгово-промышленного интереса Европы. За это-то быть может на них ополчились с таким неистовством католические феодалы. В лице их они думали поразить ту ненавистную им экономическую силу, которая без их спроса и ведома с каждым днем все росла и крепчала, пока наконец не переросла их величественные замки и дворцы.

Католицизм вышел повидимому торжествующим из борьбы с евреями. Да, ему удалось замучить их и сгнать с лица земли в одном уголке Европы, ему удалось даже возбудить к ним ненависть в большей части европейского населения. Но он не смог одолеть этой новой силы, представителями которой были евреи. Эта сила, не употребляя в дело ни костров, ни инквизиции, победила его самого, незаметно подкопав веру людей в непогрешимость его догмата. И как бы в насмешку над ним она заставила его в конце концов по-братски протянуть руку поруганным и оскорбленным евреям. Православный католик, несмотря на все искусственно развитые в нем предрассудки, давно уже ведет с евреем общие торговые дела и спешит уравнивать его с собою во всех политических и гражданских правах. Евреи отомщены. Феодализм разрушен, а создавшийся из его обломков о ф и ц и а л ь н ы й м и р передан волею судеб в управление еврея.

Испания, с упорством идиота отказывавшаяся признать логические последствия данных принципов своего экономического быта, добровольно останавливавшая прогресс своей экономической жизни, добровольно свя-

завшая себя цепями феодализма и католицизма, несет теперь все ужасные последствия своего противоестественного поведения. Изменить условия данного экономического быта можно только одним путем, именно нужно изменить самые принципы, лежащие в основе этого быта. Не изменяя принципов, нельзя устранить и их логических последствий; задерживая эти последствия, мы только уродуем народную жизнь, оскоряем, а не лечим организм. И история Испании весьма поучительно показывает нам, к чему может привести подобное оскорбление.

IV

Мы переходим теперь к одному из самых существенных пунктов католической догмы: к учению о бедности и самоотречении, учению, породившему столько страданий и зла, приучившему людей к суровому аскетизму, заставившему их полюбить монастырское уединение и самоистязание. Мы нисколько не ошибемся, если скажем, что эта доктрина была одним из естественных, необходимых, логических последствий католической догмы. Догма с самого начала устанавливала резкую противоположность между душою и телом; на тело она смотрела как на темноту души, как на тяжелые оковы, сдерживающие ее полет к высшему, неземному, небесному. Проникнутая чисто спиритуалистическими духовными началами, она ставила спасенье души и душевные наслаждения выше земных радостей и земного счастья. А так как душа и тело были двумя субстанциями, диаметрально друг другу противоположными, то разумеется и их радости, и их счастье должны были находиться во взаимной противоположности. Все, что радовало и тешило тело, должно было причинять скорбь и муку душе, и наоборот, — скорби и страдания тела должны были доставлять душе величайшее наслаждение. Спасение души, которое могло быть достигнуто только на небесах, когда душа вполне освободится от оков тела, было поставлено выше спасения тела, которое, напротив, только и могло осуществиться на земле; таким образом небесное было противопоставлено земному; муки и несчастья на земле были признаны патентами на небесное счастье и небесные радости.

«Чем больше вы страдаете на земле, тем больше будете наслаждаться на небесах. Претерпевый до конца — той спасен будет!» С такими-то утешительными словами обращалась догма к страждущему человечеству. И слова эти как нельзя лучше пришлись ему по сердцу; они пролили бальзам на язвы, они примирили его с окружающим его злом, с давящею его нищетою. Долгое рабство и систематическое угнетение расслабили и истощили людей; однако действительность была уже чересчур горька, и рабы, несмотря на свою слабость и истощение, не раз пытались протестовать; не раз мужественные спартанцы жестоко отомщали угнетателям за кровь и страдания своих братьев. Но протест был все-таки явлением частным, единичным; хотя все страдальцы чувствовали в нем потребность, но они не имели сил осуществить его в жизни. Жизнь была для них ненавистна, но они не видели никакой возможности улучшить ее, или, лучше сказать, они видели эту возможность, но сами боялись ее, сами отталкивали ее своими трусливыми руками. Если бы теперь нашелся такой человек, который ухитрился бы отыскать эту возможность где-нибудь в другом месте, который бы указал им помимо тягостной для них борьбы какой-нибудь другой исход из их ужасного положения, они были бы несказанно благодарны такому человеку.

И такой человек нашелся. Старайтесь примириться с своей судьбою, сказал он им, не протестуйте и не восставайте на своих угнетателей; там, на

небесах, вы получите за все достойное вознаграждение, а ваши угнетатели — достойное наказание. И чем больше они будут вас угнетать, тем больше будут мучиться; чем больше вы будете терпеть, тем больше будете наслаждаться. Понятно, что такое утешение должно было приттись по вкусу пассивной, забитой, расслабленной массе рабов. Она ухватилась за него, как утопающий хватается за соломинку. И этому обстоятельству догмат был обязан главным образом своею популярностью и своим распространением.

Немудрено, что он сделал из учения о земных страданиях свою главную подпору, центр своей тяжести, что он окрасился и сформировался по его образцу и под его влиянием. И таким образом существование самого догмата было поставлено в некоторую зависимость от существования этого учения. Все, что изменяло взгляд людей на значение человеческой жизни и на роль, которую играют в ней скорби и страдания, — все это должно было колебать и расшатывать доверие к догмату, подрывать его кредит и освобождать людей из-под его тяжелого гнета.

Что же заставило людей переменить эти взгляды? Что заставило их бежать от сурового уединения мокастырской жизни? Что убило в них аскетизм, доходящий до умопомешательства, и пробудило другие более здоровые и более человеческие инстинкты?

Проповедь мыслителя? Диалектика проповедника? Убеждения логика? О нет! В течение всего периода средних веков не появлялось ни одного мыслителя, который осмелился бы восстать против окружающего его аскетизма, который дерзнул бы провозгласить права плоти, никем не признанные, всеми поруганные и попираемые. Ни один проповедник, ни один даже еретик не отважился проповедывать эпикуреизм среди этого темного царства фанатизма и суеверия. Но то, на что не смели отважиться мыслители и проповедники, «люди ума и сердца», то сделал простой экономический расчет.

Экономическая жизнь, развиваясь из своих принципов, постепенно подготовила революцию во взглядах людей на земные страдания и небесные наслаждения. Сами того не замечая, люди начинали втягиваться в земные наслаждения и придавать им все большее и большее значение. Аскетизм мало-помалу исчез, и пословица «не сули журавля в небе, дай синицу в руки» крепко засела в умы людей.

Непосредственно после крестовых походов Европа стала выказывать сильное поползновение к роскоши и комфорту. Столкновение с великолепною цивилизацией Востока и быстрое возрастание богатств, естественно последовавшее за быстрым развитием торговли, служат весьма достаточным объяснением этого грешного поползновения. Поползновение прежде всего выразилось в роскоши и изысканности платий и гардеробных украшений. Католицизм, предчувствуя беду, вздумал было противодействовать этому вредному направлению с помощью запретительных мер и угроз карами уголовных наказаний. В конце XII в. Филипп Прекрасный с поддьяческой мелочностью старается определить, в какие платья прилично одеваться его подданным и какую часть дохода они могут издерживать на свой гардероб. Графы, бароны и дюки, получающие в год 6 тыс. ливров дохода, имеют право сшить себе в год только 4 платья, их жены и дети — столько же. Вассалы, получающие 3 тыс. ливров ежегодного дохода, должны ограничиться только тремя. Лица из среднего сословия, городские буржуа, не имеют права носить никаких украшений из золота и драгоценных камней, им воспрещалось также одеваться в зеленые и серые цвета. В половине XIV ст. в Англии при Эдуарде III парламент издал не менее восьми законов против «французских мод». Даже во Флоренции

были учреждены особые цензора, обязанные тщательно контролировать и подавлять всякие поползновения к роскоши и комфорту среди благочестивых католиков, особенно католичек. Но все эти меры, как и следовало ожидать, не повели ровно ни к чему. В торговых республиках Италии, в Нидерландах и в ганзейских городах, роскошь год из году возрастала и распространялась среди даже наименее обеспеченных слоев населения. Андерсон в своей «Истории торговли» рассказывает, что королева французская, посетив в начале XIV ст. Бругесс, заплакала от досады, увидя, что 600 придворных дам были одеты несравненно лучше и великолепнее, нежели ее величество. Страшные опустошения, произведенные черною немочью, еще более увеличили и расширили круг людей, могущих пользоваться сладкими плодами роскоши и комфорта. Немочь с особенным неистовством свирепствовала среди рабочего населения; численность его уменьшилась на весьма крупный процент; вследствие этого уменьшилось и предложение работы. Между тем спрос на работу остался все тот же и даже еще как будто увеличился; богатые и обеспеченные сословия, испуганные свирепствовавшей вокруг них смертностью, сами ежечасно ожидая сделаться ее жертвами, с лихорадочною торопливостью спешили насладиться всеми благами комфортабельной жизни, испить до дна чашу буржуазных радостей и наслаждений. Всякому захотелось порошкошничать напоследок своих дней, о потомстве никто уже теперь не думал, родовые и благоприобретенные имущества, капиталы, сколоченные по копейкам путем многолетних сбережений и лишений, растрачивались в несколько недель. При увеличении же спроса на работу и при уменьшении предложения заработная плата естественно должна была повыситься. Таким образом черная немочь, этот страшный бич, так много лет так жестоко каравший человеческую глупость и неосмотрительность, способствовала увеличению благосостояния рабочих классов и возвышению уровня их потребностей.

Грубая простота средневековых привычек и нравов начала мало-помалу вытесняться, по крайней мере из городов и пригородных сел. Люди постепенно усваивали себе привычки к комфорту, комфорт привязал их к этой «юдоли скорби и печали». В «юдоли скорби и печали» открылся теперь перед ними целый мир новых, неведомых наслаждений; перед этим миром, видимым, осязаемым, несомненным, бледнело и померкало то царство неземных и идеальных радостей, которое так красноречиво расписывало католическое духовенство. Люди начали дорожить жизнью и ставить земные утехи выше небесных. Незаметно для самих себя они изменили свои взгляды на учение о земных страданиях и с отвращением отвернулись от того ужасного дуализма между душой и телом, который так резко старалось провести в жизнь католическое духовенство.

Привычка к роскоши и комфорту, подобно всепожирающему пламени, охватывала все слои городского населения. В этом пламени сгорели последние подпоры католического догмата; потому оно было в высшей степени спасительно для истории развития человеческой мысли.

Но, с другой стороны, в этом пламени сгорело такое множество человеческих жертв, какое едва ли сгорело даже на кострах инквизиции при полном развитии фанатической нетерпимости и суеверия аскетических монахов. Раз пробуждены в человеке привычка к роскоши и потребность праздного комфорта, человек уже не может успокоиться, пока не выпьет до дна всю чашу наслаждения, но в том-то и беда, что эта чаша без дна: чем больше человек пьет из нее, тем больше ему хочется пить и тем больше остается невыпитого. Между тем если подвергнуть содержимое в чаше химическому анализу, то всякая капля наслаждения окажется каплею человеческой крови.

Надеюсь, читатель поймет метафору и не потребует дальнейших объяснений, которые еще пожалуй окажутся не «к месту». Здесь мы говорим не о вредных, не об экономических последствиях роскоши, мы имеем только в виду указать ее благотворное влияние на ослабление пагубного гнета католической догмы.

Войдя во вкус богатства, люди с энергией, много лет сдерживаемую и парализованную доктриною пассивного аскетизма, бросились наживать себе богатство, пустили в обороты свои капиталы и до того втянулись в деятельную, шумную, суетливую жизнь фабрики и рынка, что совсем забыли о спасении души и о высших неземных радостях, Католичество встретилось с врагом, которого не в силах одолеть ни холодная, расчетливая политика иезуитов, ни пламенная ревность монахов, ни изворотливая диалектика теологов. Этот враг называется *равнодушием*. Он не бросает гордо перчатки разгневанному и злобствующему католицизму, он не вызывает его на бой, он не борется с ним и не опровергает его, он просто обходит его, но обходит весьма почтительно, не нарушая ни словом, ни жестом должного этикета, не оскорбляя ни малейшим намеком ни папы, ни установленных им обрядов. Вот это-то и раздражает католическое духовенство. С еретиком оно бы всегда сумело совладать, — костер и темница всегда под его руками. С вольнодумцем, открыто нападающим на его догматы, оно тоже знает, каким языком говорить. О если бы только с ним спорили — оно бы показало себя, его дело было бы выиграно! Но что делать с холодным, пассивным равнодушием, почти равняющимся пренебрежению?

Дух промышленной предприимчивости, начавший в XIII в. постепенно вытеснять дух аскетизма, выразился прежде всего в уничтожении монастырей. Первоначально сами монастыри были центром промышленной деятельности, но это было уже очень давно — тогда, когда еще католицизм и не подозревал, какого опасного врага наживает он себе в промышленности. В XIII и XIV вв. монастыря окончательно с ней порвали всякую связь; они были рассадниками праздного тунеядства, убежищами всякой тупости и лени; монахи жили себе спокойно, вдали от мира и его страстей, пребывая в умственной спячке или, что пожалуй было еще хуже, упражняя свою мысль в разных метафизических тонкостях и схоластических ухищрениях. Грабительствуя и обманывая слабых и доверчивых, они накопили себе громадные богатства и завязали тесную дружбу с феодалами.

Реформационное движение, начавшееся с XVI в., обрушилось на монастыри; со страшною стремительностью простой народ разграблял их и сжигал с беспощадною лютостью; теологи объявили, что принцип монастырской жизни несообразен с евангельским учением. Правители и власти обрадовались этому удобному случаю, чтобы конфисковать в свою пользу громадные богатства монахов. Это антиаскетическое, враждебное католицизму направление умов перешло мало-помалу из лютеранских земель и в католические. В последние два века католические монархи с особенною ревностью уничтожали монастыри и забирали в казну их движимые и недвижимые имущества. Между 30 и 35 годом уничтожено было таким образом до 3 тыс. монастырей. А в настоящее время вопрос о конфискации церковных земель поднят даже в самом центре католического мира — в Италии.

Дух промышленной предприимчивости, разрушая монастыри, подкапывая католическую догму в ее существеннейших принципах и освобождая ум от оков дедовской рутины и дедовских суеверий, произвел в то же время великий переворот в нравственном мирозерцании человечества. Те новые экономические отношения, о которых мы говорили на предыдущих страницах и которые разрушили до основания мрачное здание средневеко-

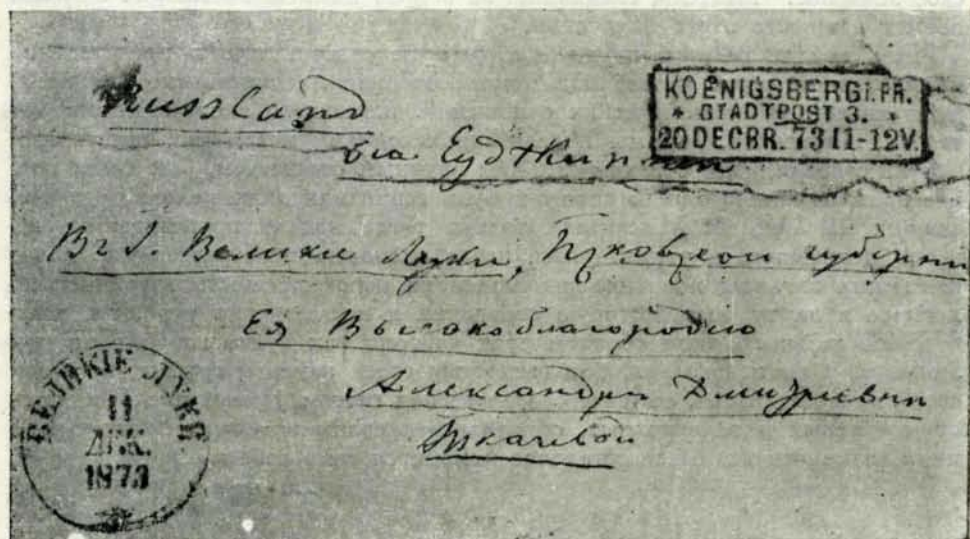
вого феодализма, оказали кроме того в высшей степени благотворное влияние на нравственные принципы людей и следовательно на улучшение и гуманизирование их взаимных отношений.

При господстве католической догмы исходным пунктом человеческой нравственности было понятие о добродетели и долге. Будь добродетелен и всегда исполняй свой долг — вот в кратких словах весь суммарий средневековой морали. Но к несчастью самые понятия о добродетели и долге до того эластичны и неопределенны, что им можно придавать какое угодно значение: это только пустые формы, бессодержательные категории, которые по произволу можно наполнять всем, чем хотите. Все зависит от того, чьи руки наполняют их, в чьих интересах, по чьему распоряжению оно производится. Разумеется руками господствующих классов, в их интересах и по их распоряжению. Интерес же господствующего класса всегда находится в большем или меньшем противоречии с интересами классов негосподствующих. Поэтому негосподствующие классы мало могут выиграть от такой системы нравственности, которая опирается не на ясных, определенных принципах, а на бессодержательных формах, наполняемых по капризу и произволу старших. И сейчас мы увидим, что нравственный переворот, произведенный развитием торгово-промышленного интереса, в том именно и заключался, что в основу человеческой нравственности лег ясный, вполне понятный и очевидный принцип пользы вместо неясного и неопределенного понятия о добродетели и долге.

Я сказал уже, что от господствующего класса зависело придать этому понятию какое угодно значение, влить в эту форму какое угодно содержание. Господствующим классом было католическое духовенство; господствующим принципом его догмы было самоотречение и аскетизм. Под этот уже принцип было подогнано и понятие о добродетели, и ей был придан чисто аскетический характер. Правда, заповедь о добродетели имела в виду пользу, благо ближнего, но это было только второстепенною, побочною целью; главною же целью было лишение человека чего-нибудь дорогого ему или приятного; добродетель, в смысле католической догмы, состояла не в том, чтобы просто оказывать друг другу добро, но чтобы оказывать добро, принося в жертву свои личные интересы. Без этого последнего условия добро, оказанное ближнему, как бы оно ни было велико, не считалось добродетелью; напротив, как бы оно ни было мало и ничтожно, но если, принося его, человек жертвовал каким-нибудь своим личным интересом, оно ставилось ему в великую заслугу и считалось добродетелью. Потому с понятием о добродетели тесно соединено понятие о награде. И действительно последнее служит необходимым постулатом первого. Не ожидая себе награды в будущем, люди не согласились бы быть добродетельными. Только надежда на эту награду и поддерживала их на скользкой стезе добродетели. Однако как ни сильна была надежда, все же она не могла вознаградить их за те жертвы и лишения, которые обуславливали всякое доброе дело. Потому люди фатальным образом обречены были на постоянные мучения и на постоянную борьбу с требованиями своего личного интереса, со своими естественными побуждениями и законными желаниями. И чем человек был добродетельнее, тем невыносимее были эти нравственные мучения, эта внутренняя борьба! К счастью, большинство людей не было добродетельно; в противном случае оно возненавидело бы земную жизнь и окончательно превратилось бы в аскета.

Понятие о долге имело точно такой же чисто аскетический характер, как и понятие о добродетели; поэтому и это понятие, сделавшись принципом нравственности, принесло человеку много зла и страданий. Опутанный с детства целою вереницею предписаний, которые все сводились к одному:

будь добродетелен, т. е. постоянно борись сам с собою, постоянно приноси себя в жертву, постоянно самоистязуясь, человек нес свой долг, как тяжелую цепь, как крест, наложенный на него чьею-то деспотической рукой, неизвестно с какою целью и для какой пользы. Крест давил его, крест так крепко прирос к его спине и плечам, что повидимому никакая сила не освободит от него. А между тем под могучим влиянием торгово-промышленного интереса он сам собою свалился с человека, и свалился так тихо и незаметно, что люди едва ли могут с точностью определить тот момент, когда они сделались свободными. Впрочем это великое нравственное освобождение из-под гнета аскетических понятий католической догмы о долге



КОНВЕРТ ПИСЬМА П. Н. ТКАЧЕВА К А. Д. ДЕМЕНТЬЕВОЙ ПОСЛЕ ЕГО ПОБЕГА ИЗ РОССИИ
Центрархив СССР, Москва

и добродетели не всеми еще вполне пережито; многие страдальцы и теперь еще покорно несут свое ярмо благодаря вредным влияниям воспитания и окружающей среды.

Человек, втягиваясь постепенно в круговорот промышленно-торговой деятельности, входя во вкус буржуазного комфорта, переменил свой взгляд на земные радости и наслаждения: он высоко стал ценить их, он сделал их целью своей жизни. Таким образом он отказался от принципа самоистязания, заменив его принципом диаметрально противоположным, принципом личной выгоды, личной пользы, личного удовольствия. Этот принцип сделался теперь таким же полным и ясным выразителем характера торгово-промышленной эпохи, как принцип субординации, безусловной покорности и смирения, был выразителем феодально-католического интереса.

Как только принцип личной выгоды стал главнейшим стимулом человеческой деятельности, человек не задумался перенести его из тесной сферы торговли и промышленности в более широкую сферу нравственных отношений к людям вообще. Привыкнув на рынке и фабрике действовать исключительно по расчету, руководствуясь побуждениями личной выгоды, человек не оставил эту привычку и вне фабрики, и вне рынка. Не только в своих торговых, но и вообще во всех своих отношениях к людям он начал действовать по принципу личной выгоды. Принцип этот, перенесенный в сферу нравственности, получил название утилитаризма; в настоящее время он благодаря великим трудам Гельвеция, Бентама и Мил-

ля завоевал себе весьма прочное и надежное место в области человеческой этики. Научные представители нашей эпохи придали ему такой же точно строго теоретический, отвлеченный характер, какой теологи придавали в средние века милому их сердцу принципу самоотречения. Но разумеется принцип обязан своею популярностью не этому абстрактному теоретизированию; теоретизирование его началось не раньше второй половины XVIII ст., т. е. тогда, когда уже он вошел в общее практическое употребление торгово-промышленных сословий. Следовательно не теоретическая форма этого принципа обусловила его практическое значение, а наоборот: потому он был облечен в теоретическую форму, что уже имел практическое значение. Читатель, следивший за общею мыслью настоящих очерков, поймет важность этого замечания.

Итак, вот те великие изменения, которые совершились в нравственной и умственной сфере человеческого мирозерцания единственно под влиянием известных экономических отношений, известного экономического интереса. Изменения, как мы видели, происходили незаметно, постепенно; они не совпадали ни с каким великим научным открытием, они были произведены не силою одного какого-нибудь гения или даже целого ряда блестящих мыслителей. Мыслители только тогда начали проповедывать неверие, терпимость и утилитаризм, когда экономический расчет уже давно переменял взгляды практических людей на непогрешимость католического догмата и на ту роль, которую страдания и наслаждения играют в человеческой жизни. Таким образом урок истории как будто говорит людям: люди, если вы недовольны бесплодностью своей науки и грубым эгоизмом своей нравственности, если вы страдаете под гнетом разных предрассудков, общественных и религиозных, обратитесь к своим экономическим отношениям, измените их, и все остальное изменится само собою.

V

Торговый и промышленный интерес, подкопав учение католичества о проценте, разрушив доктрину его непогрешимости и его основной принцип самоотречения, нанес ему в то же время и с другой стороны удар весьма чувствительный и решительный. Под его влиянием изменился характер общественных удовольствий, и это изменение, как мы сейчас увидим, имело роковые последствия для католической догмы.

Положение общественных удовольствий и отношение к ним церкви уже в самые первые века христианства имело важное значение. С одной стороны, жестокость, с которою преследовали их первые христиане, служила одною из главнейших причин гонений, воздвигнутых на них язычниками, гонений, так странно противоречивших с всегдашнею терпимостью политеистической религии язычников. С другой стороны, когда христианство достигло гражданской власти, оно принялось еще с большим неистовством преследовать театр и цирк; в них оно видело остатки представителей язычества и, зная, как сильно дорожит ими народ и вспомнив претерпленные за них гонения, оно ополчилось на них всю силою своего окрепшего могущества. Борьба однако была трудна: народ, который покорно и пассивно смотрел на разрушение своих капищ и алтарей, схватился за оружие, когда императорские солдаты стали разбирать его цирки и разгонять его актеров. Епископы посылали актерам страшные проклятия: актер лишался святого крещения, а в случае смерти — христианского погребения; христианин, осмелившийся явиться на подмостках народного театра, отлучался от церкви. Однако несмотря на эти сторогоности, толпы зрителей ломались в театры и театр пользовался большою популярностью в народе, нежели церковь. Не видя никакой возможности стереть его с лица земли, как

Remedy for $\frac{m}{n}$ lamps

[illegible]

P.S. Был у него не раз подруга,
Александро-вн. Овдов. Александро-вн. Овдов.
и он же был в нем.

стерло языческие капища, духовенство пустило в ход совершенно другую тактику, которая повидимому увенчалась полным успехом. Оно начало мало-помалу соединять божественную службу с театральным представлением. Тогда-то возникали католические мистерии. Уже во втором веке еврей по имени Эзекия написал мистерию «Моисей», пользовавшуюся большою известностью у набожных людей. Вторую попытку в этом роде были «страсти» — мистерия, сочиненная или, правильнее, переделанная с греческого святым Григорием Нанзианзинским. Религиозные церемонии, в особенности церемонии при некоторых торжественных случаях, как например на рождестве, в святую неделю, в день св. Епифания, принимали все более и более драматический характер; монахи и монахини для разогнания монотонной скуки монастырской жизни начали тоже развлекаться театральными представлениями. Первый известный нам пример подобных представлений относится к X в. Настоятельница одного немецкого монастыря написала две или три драмы с духовным сюжетом, но, как говорят, сильно позаимствовавшись у Теренция, и монахини ее монастыря разыгрывали с большим наслаждением произведения своей игуменьи. Сюжет одной из этих драм был такого рода. Один отшельник увлек с собою по пути добродетели и самоистязания одну молоденькую и хорошенькую барышню. Барышня долго подвизалась с отшельником в добродетели и самоистязании, но наконец это занятие ей наскучило, она восстала против власти отшельника, призрела его советы и убежала в публичный дом. Монах, узнав об убежище своей непослушной сподвижницы, переоделся в солдата, проник в ее жилище, искусно обманул ее обитателей и нашел случай увести свою питомицу.

Как видите, содержание не совсем-то целомудренное для монастыря и весьма бедное фантазией. В таком-то вкусе составлялись и другие мистерии; только в них не редко можно было видеть и бога, и дьявола, и святых, сведенных на театральные подмостки.

Бедность и дикая уродливость фантазии авторов мистерий долгое время препятствовала им с успехом конкурировать с римским цирком и греческою драмою. Но нашествие варваров и последовавшее затем огрубение нравов и понижение общего уровня образованности помогли делу католического духовенства. Римский театр потерял всю свою прежнюю привлекательность, и в конце XIII в. он уже не играет никакой роли среди общественных увеселений. Увеселения приняли более воинственный и более цинический характер. Неприличные танцы, сражения, убийства, драки и рядом грубые шутовства — вот постоянные темы с различными вариациями, разыгрывавшиеся на театральных подмостках. Театральные же подмостки после окончательной победы над римским театром перешли в монопольное обладание католического духовенства: католическое духовенство поспешило придать театру религиозный характер, думая вероятно таким способом безраздельно господствовать над чувством и умом людей. Но оно ошиблось в расчете.

Правда, пока театральные представления разыгрывались только в стенах монастырей и аббатств, они сохраняли до известной степени приличие и набожность, свойственные святому месту. Но ведь монастырь не мог претендовать на вечную монополию сценическими увеселениями. Притязания его имели смысл только в то время, когда действительно почти вся умственная деятельность сосредоточивалась в его пределах. С возникновением же городской промышленности, с развитием торгового интереса центр общественной и умственной деятельности из ограды монастыря перешел за ограду городов. Массы народа, скученного за этими оградами, тоже имели некоторое поползновение развлекать свои досуги сценическими представлениями. Первоначально и эти сценические представления к удо-

вольствию духовенства имели чисто божественный характер, т. е. в них сводились на подмостки лица неземные, в них действовали и говорили бог, дьявол, Адам и Ева, божия мать, чудотворец Николай и т. п. Но именно это-то обстоятельство и послужило на пагубу духовенству. Миряне, особенно горожане, были весьма плохими теологами; занятые с утра до вечера обдумыванием и обдeldыванием своих промышленно-торговых делишек, они не имели ни времени, ни охоты вникать во все тонкости католической догмы. Потому не было ничего удивительного в том, что они, выводя на сцену бога, дьявола и всех святых, нередко уклонялись от истинного и непреложного католического символа. Уклонения эти делались обыкновенно во имя вкусов и потребностей тогдашнего общества. А эти вкусы и потребности не отличались ни особенною изысканностью, ни особенною чистотою. Горожанин только что начинал входить во вкус светских развлечений, земных наслаждений; только начинал развиваться. Земные наслаждения прежде всего являлись ему в форме чувственных наслаждений и возбуждали в нем только чувственность. Развитие заставляло его отрицательно относиться к некоторым явлениям окружающей жизни, но это отрицание не шло дальше плоской шутки, грубой и столько же глупой насмешки. Итак, чувственность и любовь к шутству были выдающимися чертами в характере подрастающего буржуа. Понятно, что эти наклонности не могли остаться без влияния и на сцену.

В сценических представлениях стали теперь изображаться чувственные картины и появляться разные циники и шуты. По старой однако привычке действующими лицами оставались все те же боги, дьяволы и святые. Разумеется божественные лица ставились в не совсем-то божественное положение, и разумеется такие представления мало могли способствовать возбуждению религиозного чувства и развитию в народе уважения к религиозным предметам. Вот что говорит по этому поводу Лекки в своем «History of Rationalism», стр. 335, 336, 337:

«После XIII ст. сценические представления приняли народный характер, устранив почти совершенно религиозный, и с этих пор они сделались могучими орудиями, разрушившими авторитет католической церкви и подкапавшими кредит святейшего папы. Доказательством этому служит разумеется не то обстоятельство, что всемогущий низводится на подмостки театра, — оно, правда, хотя и шокирует наши глаза, но, в сущности, вполне соответствовало уровню тогдашнего умственного развития. Доказательством этому служат те сальности и неприличности, которые превосходили даже сальности и неприличности римской сцены в самые худшие времена римского театра, и та роль, которую заставляют играть дьявола. Первоначально мистерии не мало способствовали религиозному терроризму. Глазам зрителей представлялись картины геенны огненной, крики агонии грешников раздирали их уши.

Но потом дьявола заставили играть роль шута. Появление его вызывало взрыв неудержимого смеха. Вскоре он сделался одною из самых выдающихся и популярных личностей на сцене и благодаря своему шутковскому характеру совершенно освободился от той грозной и отталкивающей обстановки, которою окружало его католическое духовенство. Таким образом одна из важнейших доктрин католической церкви в уме народа смешалась с представлениями о чем-то в высшей степени забавном, и дух насмешки и сатиры готов уже был потешаться над всем учением католического авторитета.

Трудно с достоверностью определить, насколько эти грубые драматические представления подрывали кредит старых религиозных верований, предшествовавших и подготовивших Реформацию. Еще в ранний период католичества такие странные празднества, какими были например п р а з д -

и к дураков и праздник ослов, ввели в церковные представления неприличные танцы, карикатуры на духовенство и даже пародию на мессию; еще более способствовали развитию этого направления мистерии XIV и XV вв. Обращаю особенное внимание читателей на то обстоятельство, что популярность этих представлений зависела главным образом от возвышения уровня народного благосостояния, возвышения, вызванного, в свою очередь, развитием промышленного интереса. В людях мало-помалу зародилась и окрепла страсть к удовольствиям высшего порядка; они стали входить во вкус театральных представлений, действовавших на фантазию, и эта страсть и этот новый вкус служили как бы переходными ступенями от простых, грубых, неартистических нравов средневекового варварства к более изысканным, осмысленным и дорогим потребностям буржуазной цивилизации. Как ни были грубы и дики эти представления, все же в них ясно отражалось состояние тогдашнего общества, уже начинавшего борьбу с авторитетом католичества и вступающего в новый фаз своей цивилизации; кроме того в этих представлениях уже явно проглядывает стремление к секуляризации».

И секуляризация театра действительно не замедлила осуществиться в жизни. Мистерии и божественные сюжеты стали постепенно выходить из моды. Мысль людей стали занимать земные дела и земные житейские отношения; ее перестали интересовать небесные существа, добрые и злые духи. Монополия общественных увеселений была вырвана из рук католических пастырей, и самые эти удовольствия поставлены вне их влияния и контроля. Духовенство пыталось было пойти на уступку. Оно измыслило особый вид театральных представлений, в которых предполагалось соединить воедино светский элемент с духовным. Эти представления отличались от прежних мистерий тем, что на сцену выводились не боги и дьяволы, а аллегорические изображения пороков и добродетелей. Изображениям придавались светские имена, но через это нисколько не нарушалась божественность самого представления; представления не переставали быть божественными; они утратили только прежнюю живость и драматизм и превратились в скучные, сухие проповеди на тексты св. писания.

Разумеется они не могли конкурировать со светскою драмою; и мало-помалу светская драма окончательно завладела театральными подмостками, очистив их ото всяких мистерий и аллегорий.

Это антикатолическое движение в сфере сценического искусства началось, как и следовало ожидать, в торгово-промышленных центрах Европы — в итальянских республиках, и именно во Флоренции. Оно было так хорошо подготовлено экономическими условиями городекой жизни, что без труда проложило себе дорогу во все слои городского населения и в первое время увлекло даже самых набожных католиков. Папы — верховные представители католического интереса — и те на минуту поддались его обаятельной силе. Первая светская комедия, написанная по-итальянски в конце XV ст., принадлежала перу кардинала Биббиена, бывшего долгое время секретарем при дворе Лоренцо Медичи; постановка ее на сцену не встретила ни малейшего препятствия со стороны духовенства. В начале XVI в. написаны были две первые светские трагедии: *Софонизба* (подражание Эврипиду) и *Розимунда* (подражание Сенеке). Духовенство и к ним отнеслось милостиво. Сам папа Лев X взял их под свое покровительство, несколько раз присутствовал при их представлении и щедро наградил их авторов; одного назначил даже посланником при дворе императора Максимилиана.

Первою светскою музыкальною оперою был «Орфей», при представлении которого присутствовал один из важнейших в то время сановников Рима — кардинал Гонзаго. Через несколько лет после этого папа Климент VII вместе с императором Карлом V присутствовали при представлении свет-

ской комедии «Три тирана», составленной Риччи. Кажется нельзя уже было благосклоннее относиться к светскому искусству. Зато и искусство щадило на первых порах интересы католичества. Однако только на первых порах, да и то в одной Италии. Во Франции светский театр объявил уже войну духовенству; и первая светская пьеса, поставленная на сцену (Ифигения, соч. Жюдеяля), была едкою сатирою на клириков.

Католичество всполошилось, и громы проклятий и анафем посыпались на головы несчастных актеров.

Играть на сцене — значило совершать смертный грех; актеры должны быть исключены из христианского общества, отлучены от церкви, в будущей жизни их ожидает неизбежная гибель, вечные муки; они недостойны христианского погребения, трупы их следует зарывать в землю, как трупы собак и свиней. Таковы были предписания канона. И они не были мертвою буквою. Самые талантливые актеры лишались христианского погребения. Известна трагическая история актрисы *Lescouvreur*⁵, памяти которой Вольтер посвятил одну из своих самых пламенных од. Друзья и родственники Мольера с трудом могли выхлопотать разрешение похоронить его на кладбище. Расин до того был перепуган строгими предписаниями канона, что, находясь в зените своей славы, отказался писать для сцены. Эпитафия к его памятнику гласит, что на памяти Расина лежит одно только пятно — это именно то, что он был драматическим поэтом.

В конце XVII и начале XVIII ст. актеры входили к папе с представлением о смягчении строгих предписаний закона, но их просьба была оставлена без всяких последствий.

Во Франции запрещено было даже венчать актеров; и когда один юрист Гьюрне-де-ла-Моте написал книгу в защиту актеров в 1761 г., то его книга была сожжена рукою палача, а сам он был вычеркнут из списка адвокатов. Люлли, известный французский композитор, только тогда получил прощение за свое безбожное ремесло, когда сам сжег свою только что композированную оперу.

Несмотря однако на все эти козни и придирки католического духовенства, театр не заглох, а, напротив, с каждым годом все укреплялся и совершенствовался. Публика сторицею вознаграждала актеров деньгами и славой за притеснения, воздвигнутые на них папами. И к величайшему негодованию св. отцов стало вполне очевидным, что буржуазия дорожит более сценою, нежели церковью.

Волей-неволей пришлось делать уступки. Бенедикт XIV разрешил в самом Риме светские театральные пьесы; сперва он ограничил время представления одним карнавалом, но потом дозволил их и в другие времена года. В половине же XVII в. в священном городе был построен первый оперный театр.

В настоящее время церковь уже не пытается напоминать людям о своих старых канонах. Она понимает, что такое напоминание не поведет ни к чему. Над ним только посмеются или, что еще хуже, на него не обратят ни малейшего внимания. Когда в 1864 г. Пий IX вздумал было откровенно изложить принципы католичества, четыре века назад безусловно признаваемые всей Европой за неоспоримо истинные, тогда его сочли за полупомешанного, и самые набожные католики и самые христианнейшие монархи отреклись от своей прежней веры как от губительной ереси. Так изменяются взгляды и вкусы людей!

В настоящем очерке мы указали только на общие, коренные причины этого радикального изменения. В следующих очерках мы углубимся в частности и покажем, как постепенно высвобождался ум человеческий из-под гнета католической догмы в сфере политики, нравственности, науки и искусства.

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ РАЦИОНАЛИЗМА*

I

В истории развития человеческой мысли за последние 300 лет едва ли можно найти изменение более поразительное и поучительное, чем изменение, происшедшее во взгляде людей на колдовство и волшебство. В настоящее время нет ни одного даже полуобразованного человека; который бы мог серьезно поверить рассказам о ведьме, летающей по свету на метле, о бабе, превратившейся в волка, о домовых, привидениях и тому подобных чудесах. Уверяйте, сколько вашей душе угодно, что вы собственными глазами видели на кладбище привидение, что в доме у вас поселился домовый, что вы собственными ушами слышали производимый им шум; приводите в подтверждение ваших слов бесчисленное множество свидетельских показаний, ссылайтесь на какие угодно авторитеты, — вам все-таки никто не поверит, над вами все-таки будут смеяться, на вас будут указывать пальцами как на помешанного, и чем настойчивее станете вы доказывать возможность существования таких интересных особ, как домовые и привидения, тем пуще будут над вами смеяться и потешаться. И вот, что всего досаднее, вас не станут даже и опровергать. Мало того: большинство ваших слушателей даже и не в состоянии будет опровергнуть вас. А все-таки никто вам не поверит. Таким образом неверие это в большинстве случаев не есть результат тщательного и добросовестного обследования описываемого вами факта; оно скорее предшествует ему, устраняет его, делает его совершенно излишним и ненужным. Прежде чем начинать исследование и проверку ваших показаний о домовом, все уже наперед знают, что они ложны и не заслуживают ни малейшего вероятия. Мы чувствуем непреодолимое отвращение объяснять непонятные или неизвестные явления присутствием каких-то неведомых таинственных сил. Все сверхъестественное кажется нам странным и невероятным. Мы охотнее обходим непонятные явления или изобретаем для объяснения их какие-нибудь не допускающие доказательство гипотезы, чем прибегаем к вмешательству неземных деятелей. В этом отношении мы — совершеннейшие антиподы людям XV и XVI ст. В эти и предшествующие им века все, напротив, старались отнести за счет неземного и сверхъестественного. Весь мир казался как бы разделенным между двумя враждебными лагерями: лагерем злых и лагерем добрых духов; и все, что совершалось в мире, хорошее и дурное, приписывалось обыкновенно либо вмешательству одного, либо вмешательству другого лагеря, смотря по тому, кто был непосредственно заинтересован в совершившемся. Если например больного исцелил монах, то исцеление приписывалось действию добрых духов, монах возводился в сан чудотворца, и по смерти папа причислял его к штату католических святых. Если же тоже самое сделал какой-нибудь бедный знахарь или какая-нибудь полупомешанная баба, — исцеление приписывалось лукавству злого духа, знахарь или баба считались колдунами, пытались и сжигались на костре. Но и в этом и в другом случае люди твердо верили в вмешательство сверхъестественных сил и самый факт чудотворного исцеления не подлежал ни

* В этих очерках я желал представить борьбу рационализма, т. е. трезвого, беспридрассудочного, строго реального взгляда на человеческие отношения и на явления окружающей нас природы, с узкою, догматической доктриной, возникшею в период римских императоров и опутавшею ум и сердце человека тяжелыми веригами всевозможных предрассудков и нелепостей. Но по некоторым соображениям я не могу начать печатать эти очерки, сначала я должен ограничиться отрывками из середины. Постараюсь придать каждому отрывку возможную полноту и законченность. В предлагаемом здесь отрывке будет рассмотрена история колдовства и волшебства в средние века. (Примечание П. Ткачева).

малейшему сомнению. Потому неудивительно, что эти темные века оставили нам не мало воспоминаний о святых, увенчанных славою, и еще больше о мучениках, окончивших свою жизнь на костре.

Да, воспоминания последнего рода почти совершенно затемняют и затушевывают воспоминания первого рода. Наивная вера в вмешательство сверхъестественных агентов в житейские отношения чаще имела своим исходом не чудотворную раку, а костер инквизиции и страшные орудия пытки. В действительности чудес колдовства и волшебства в то время так же мало сомневались, как мало сомневаются теперь в действительности кровообращения или движения земли. Еще меньше сомневались в том, что чудеса следует относить к деятельности добрых духов, а колдовство и волшебство — злых духов, и потому чудотворцев следует прославлять и поощрять, а колдунов и волшебников — карать и пытать. Государства, совершенно не сходные друг с другом ни по своему положению, ни по характеру своих жителей, ни по своим интересам, в одном этом пункте были между собою вполне и безусловно согласны. В Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Норвегии, Англии, Швейцарии — везде колдунов с одинаковою ревностью возводили на костер, мучили, пытали или томили в мрачных подземельях инквизиции. Лекки говорит в своей «History of Rationalism», что в Тулузе в одно заседание инквизиции было осуждено на смерть за колдовство 400 чел., в Треве, как говорят, за то же преступление было сожжено более 7 тыс. чел., епископ Бамбергский хвалился, что он сжег 6 тыс. колдунов, но епископ Вюрцбургский перечеголял его: он сжег в один год 8 тыс. чел. Парламенты в Париже, Тулузе, Бордо, Реймсе, Руане и Дижоне то и дело издавали драконовские декреты против колдовства и волшебства, и за каждым таким декретом следовали страшные расправы и лились потоки человеческой крови. То же самое повторялось и в других странах. В Италии например в одной провинции Комо ежегодное число жертв доходило до тысячи человек. В некоторых провинциях преследования колдунов были до того жестоки, что вызвали открытое восстание со стороны терпеливого народа. То же повторилось и в соседней Швейцарии: в Женеве например в течение трех месяцев было сожжено 500 колдунов. О Германии и Испании уж и говорить нечего. Реформация нимало не поколебала веры людей в греховность колдовства, преследования колдунов нисколько не уменьшились, ни один костер не был потушен тем новым живительным духом реформы, который потряс вековые столбы католического мира. Сам Лютер с жаром говорил: «Я не имею к колдунам ни малейшего сострадания, — я бы всех их сжег на медленном огне».

В Англии введение реформации сопровождалось неистовым преследованием колдунов и колдуний, англиканские священники соперничали в этом случае с самыми ревностными пуританами и кальвинистами. В Новом Свете до введения пуританства о преследованиях не было ни слуху, ни духу. Но чуть только там появились пуританские проповедники — во славу бога зажглись костры и рекою полилась кровь отреченных чудотворцев.

II

Если мы теперь спросим себя, что же заставило людей отказаться так решительно и безусловно от верований, которые 200, 300 лет тому назад, так решительно и безусловно признавались всеми умными и глупыми, бедными и богатыми, католиками и лютеранами, то повидимому самым простым и естественным ответом будет: люди доумнели. Однако взглядевшись в дело поближе, легко убедиться, что этот простой ответ так же неудовлетворителен, как и прост. В середине века, в XII, XIII, XIV, XV, XVI,

XVII ст., мы то и дело встречаемся с личностями в высшей степени развитыми и умными, и однако эти развитые личности, по уму бесспорно превосходящие массы современных пролетариев, массы голодных и невежественных бедняков XIX в., так же наивно верили в действительность колдовства и так же упорно преследовали колдунов и ведьм, как и последний идиот из какого-нибудь монашеского братства. Таким образом вера в колдовство зависела не от большей или меньшей степени умственного развития, а от общего направления мысли, а это последнее определяется и обуславливается господствующим духом данного века.

От чего же зависит этот «дух века»? Отчего он — такой доверчивый и наивный в XIV и XV вв. — стал таким скептическим? Следует ли это приписать исключительно прогрессу науки, накоплению знаний или каким-нибудь изменениям, происшедшим в общественном, экономическом быту европейских народов, или наконец тому и другому вместе?

Отвечать на этот вопрос не трудно.

Бесспорно человек тем трезвее и реальнее относится к окружающим его явлениям, чем шире и яснее его умственный кругозор. Широта же и ясность его умственного кругозора находится в прямой зависимости от количества и качества знаний. Каждое новое знание, разрушая какой-нибудь старый предрассудок, устраняя какую-нибудь неправдоподобную гипотезу, этим самым укрепляет ум, делает его более опытным, менее доверчивым и наивным. В этом отношении нельзя отрицать заслуг науки, однако не должно слишком и преувеличивать их. Началом всякого знания, а следовательно и всякой науки, как справедливо заметил еще Бокль, служит скептицизм. Без скептицизма не было бы науки; прежде чем человек не усомнился в фатализме и чуде он не мог писать, он не мог понимать историю человеческого развития, прежде чем он не усомнился в сверхъестественном вмешательстве неземных агентов в земные дела людей и в непосредственное управление явлениями внешнего мира, он не мог заниматься с толком естественною историею, ему доступна тогда была только одна область — область теологической философии и философской теологии. Наука не могла возникнуть при существовании непоколебимой веры в колдунов, волшебников и чудотворцев. Следовательно не наука, т. е. не накопление, расширение, и осмысление точных знаний, подорвала веру в волшебство и колдовство, а наоборот — подорванная вера породила науку, сделала возможным приобретение и расширение точных знаний.

В самом деле: всякое научное знание, всякая научная аксиома есть результат научных исследований и открытий, или — при существовании многих противоположных мнений об одном и том же научном факте — результат спора этих различных мнений. Спор окончательно решает, за каким из научных мнений следует признать достоверность и каким научным доводам следует отдать предпочтение перед всеми остальными.

Но вера в волшебство и колдовство потеряла свой кредит совсем не вследствие каких-нибудь научных открытий, каких-нибудь теоретических аргументаций, или каких-нибудь ученых споров. Никакого открытия не было сделано, которое бы могло доказать людям несуществование злых духов и невозможность вмешательства их в человеческие отношения; насчет этого вопроса и до сих пор еще существует много различных мнений, до сих пор еще вопрос считается нерешенным, и ни одно мнение не хочет признать себя побежденным. Тем не менее однако в ведьм и колдунов, в домовых и привидений почти уже никто не верит. А почему, на каком основании?

Что вы ответите на это, читатель?

Все, что вы можете ответить на это, будет приблизительно заключаться в следующем. Вы скажете: перебирая в уме моем все, что я слышал о колдовстве и волшебстве, анализируя те случаи, которые приводятся обычно



П. Н. ТКАЧЕВ И ЕГО МАТЬ М. Н. ТКАЧЕВА
Сзади стоят сестры Ткачева: А. Н. Анненская и С. Н. Криль
Фотографии 1860-х гг.
Институт Русской Литературы, Ленинград

венно в подтверждение существования домовых и привидений, я убеждаюсь, что все они могут быть объяснены без всякого вмешательства сверхъестественных сил либо неверностью свидетельских показаний, либо неточностью собранных данных, либо преднамеренным обманом и мошенничеством со стороны лиц, выдающих себя за колдунов и ведьм, либо болезненным, ненормальным состоянием их организма, т. е. сумасшествием. А если волшебство и колдовство может быть объяснено совершенно удовлетворительным образом и без содействия неизвестных деятелей, то к чему же нам и тревожить их? Совершенно справедливо. Но неужели ты думаешь, читатель, будто твое неверие в существование нечистых сил, колдунов, ведьм и волшебниц, есть следствие твоих рассуждений? Ты воображаешь, что оттого ты не веруешь, что умеешь логично аргументировать. Ты ошибаешься, нет, ты оттого так логично аргументируешь, что ты не веруешь. И в XV, и в XIV вв. очень хорошо знали, что свидетельские показания часто бывают ложны и что им нельзя придавать никакой безусловной веры, что нельзя также вполне верить и признанию самого подсудимого; и в XV, и в XIV вв. никто не сомневался, что стечение каких-нибудь случайных обстоятельств, хитрость, обман, злонамеренность и подлог могут играть немаловажную роль в деле колдовства и волшебства. Поэтому-то колдунов и судили весьма основательно и осторожно — так, как у нас судится теперь убийство или государственная измена. Нельзя сказать также, чтобы веру в колдовство ослабила медицина и психиатрия. Медицина еще и теперь-то находится в младенчестве, можно себе представить, в каком положении она находилась два-три века назад и какое влияние она могла иметь на умы людей! Что же касается до психиатрии, то она явилась через много времени после того, как вера в колдовство потеряла почти всякий кредит. Известно, что отцом психиатрии был Пинель⁶, писавший свою философию сумасшествия в то время, когда колдунами и ведьмами пугали только маленьких детей.

Следовательно ни расширение кругозора наших знаний — так как понятия о фальшивости свидетельских показаний, о надежности собственных признаний и т. д. столь же хорошо были известны средневековому человеку, как и нововековому, — ни какие-нибудь научные открытия, потому что о них ничего не упоминает история, ни ученые диспуты, которых тоже никто не запомнит, ни прогресс точных наук подkopали веру в колдовство, вдохнули дух скептицизма в ум человека и заставили его относиться к деятельности сверхъестественных сил либо с полным недоверием, либо с полным индифферентизмом. В самом строе общественной жизни, в экономическом быту средневекового общества произошли такие изменения, которые сообщили европейской мысли совершенно иное направление и указали ей иное, более обширное и богатое поприще для ее деятельности. Тяжелые цепи, которыми феодалы и монахи пытались приковать ее к своим замкам и монастырям, спали с нее, и она, повидимому смелая и свободная, отважно бросилась на новое поприще, на поприще индустриальной промышленности, и здесь верою и правдою стала служить и прислуживать своим новым господам, начинавшим уже значительно жиреть и задирать нос.

В другом отрывке будет подробно рассказано, каким образом изменения, происшедшие в экономическом быту европейского общества, вызвали и воспитали дух скептицизма — более реальный и рациональный взгляд как на человеческие отношения, так и на явления природы. Здесь я только указываю на этот факт, оставляя дальнейшие доказательства до следующего раза.

Положение феодалов и клириков в продолжение средних веков повидимому было весьма крепко и надежно, а на самом деле — весьма шатко и сомнительно. Отношения их к эксплуатируемой массе крестьянства не были определены с тою научною точностью и не допускающей сомнений яс-

ностью, с которой определены были в древнем мире отношения господина к рабу, или в новом — отношения покупающего работу к продающему ее. Правда, они грабили народ с неменьшим бесстыдством, чем римские патриции и современные буржуа, но их грабительства не были возведены в строгую экономическую систему, в безусловный экономический закон; потому они являлись как факт грубого насилия и как такие факты естественно возбуждали против себя беспрестанную реакцию со стороны крестьянства. «В течение всех средних веков, — говорит Циммерман, — происходили крестьянские возмущения против дворян и духовных владетелей; они были направлены на защиту древней свободы от произвола высших классов, которые хотели усилить бремя, тяготившее над несвободными, и обратить пленников в крепостных. Борьба эта происходила во всей Европе». Эти постоянные протесты служат лучшим доказательством непрочности цепей, сковывавших крестьян. Правда, протесты эти оканчивались в большей части случаев весьма печально для протестующих. Однако неудачи обуславливались чисто случайными обстоятельствами, которые могли и быть и не быть. «Крестьяне терпели неудачи, — говорит Циммерман, — потому, что силы их были разрознены, а предводители их были люди неспособные или изменники». Но ведь причины эти легко могли быть устранены; опыт мог научить крестьян уму-разуму, и тогда феодалы очутились бы в весьма неприятном положении. Потому Циммерман прав, когда он сравнивает положение феодалов и клириков с положением людей, «живших на вершине вулкана». Естественно, эти люди не могли быть в том спокойно-блаженном настроении духа, в каком пребывает современный буржуа. Естественно, они должны были употреблять все от них зависящие средства для поддержания порядка и благочиния среди бушующих и протестующих масс обираемого и угнетаемого народа. Но они не выдумали и даже не способны были выдумать той удивительной уздечки, которою современный буржуа сумел так ловко и искусно зануздать голодные массы; политическая власть была в то время слишком слаба, чтобы мочь оказать существенную поддержку интересам феодалов; она сама скорее нуждалась в их защите. Потому феодалы увидели себя в необходимости протянуть руку клирикам, и с помощью этих достойных господ они с большим успехом стали развращать и приглушать народную мысль, пугая ее призраками и видениями, опутывая ее тонкою сетью самых грубых предрассудков и нелепостей. Расчет их был верен. Человек напуганный, всего и всех боящийся, повсюду усматривающий козни злых духов, глубоко верующий и в то же время искренне убежденный в своей греховности, — такой человек не особенно страшен даже и в раздраженном состоянии. Обладая некоторым тактом и умением, с ним всегда легко совладать, всегда легко направить его в какую угодно сторону. А клирики обладали этим тактом и умением в самой совершенной степени. Потому союз их с феодалами был весьма естествен и разумен, и для объяснения его помимо здесь указанных чисто экономических соображений нет нужды прибегать ни к каким другим, более или менее остроумным гипотезам историков-рутинеров.

Чтобы меня не обвинили в злокамеренности и парадоксальности, я укажу в следующей главе, при каких обстоятельствах возникла в средневековом обществе вера в колдовство, волшебство и чудодейство, и я надеюсь, что сообразительный читатель согласится с моими мнениями насчет проницательности и сообразительности господ феодалов и клириков.

III

В первобытном обществе дикарей вера в колдовство неизбежно является у человека при самых первых его столкновениях с жизнью и внешнею при-

родою. Каким образом возникает в его уме эта вера, объяснить весьма легко. Враждебные силы природы — враждебные, потому что он не понял их и не сумел обратить в свою пользу, — на каждом шагу поражают его какими-нибудь неожиданными явлениями и наполняют его сердце страхом и ужасом. Проводя весь свой век в скитаниях по таинственным, мрачным лесам или необъятным степям и неприступным горам, подвергаясь всем непредвиденным случайностям скитальческой кочевой жизни, — взор его повсюду поражается величием и грандиозностью девственной природы, еще не искаженной и не тронутой рукой человека. Это величие его давит и устрашает, он чувствует перед ним всю свою мизерность и все свое ничтожество. Присоедините к этому частые бедствия в виде пожаров, наводнений, болезней, эпидемий и т. п., которые постоянно преследуют бедных и невежественных дикарей, и вы легко себе представите....

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Статья «Очерки из истории рационализма» печатается в рукописи, сохранившейся в архиве III Отделения и находящейся в настоящее время в Архиве революции и внешней политики в Москве. Рукопись эта была отобрана у Ткачева в числе других его бумаг во время обыска, произведенного у него жандармами в 1866 г. после покушения Каракозова. Определить точно время, когда статья эта была написана Ткачевым, трудно: по всей вероятности она относится к 1865 году. У Ткачева был довольно широкий замысел: он намеревался в ряде статей проследить смену религиозного мирозерцания средних веков свободомыслием нового времени и выяснить причины, под влиянием которых свободная мысль вышла победительницей из борьбы с католической догматикой. Выполнить этот замысел Ткачеву не удалось. Им была написана только первая статья, в которой он устанавливал основные причины смены мирозерцаний. Следующие статьи, в которых он намеревался проследить, как человеческий ум высвобождался из-под гнета католической догмы в сфере политики, нравственности, науки и искусства, остались ненаписанными. Сохранился только незаконченный отрывок, посвященный вопросу об эволюции человеческих взглядов на колдовство. Этот отрывок мы воспроизводим вслед за основной статьей.

² Ткачев имеет в виду поэму в прозе французского писателя Ф. Шатобриана (1768—1848) *Les Martyrs* (1809), в которой изображаются гонения на крестьян в Риме в эпоху Диоклетиана.

³ Намек на колонии, образованные в XVII в. в Парагвае, в испанских владениях, иезуитами. В этих колониях, представлявших собой изолированные от внешнего мира государства в государстве, прикрепленные к земле туземцы подвергались хищнической эксплуатации со стороны иезуитского ордена, в пользу которого они были обязаны отбывать барщину.

⁴ Во избежание недоразумений, необходимо оговорить, что здесь и ниже термин «православный», обычно прилагаемый к восточной церкви в противоположность католической, Ткачев употребляет в смысле «правоверный», «ортодоксальный» и применяет его к католичеству.

⁵ Андриенна Лекуврер — известная французская драматическая актриса XVIII в. — была отравлена своей соперницей.

⁶ Филипп Пинель (1755—1822) — французский психиатр, автор трактата о душевных болезнях (1801), рассцениваемого как первое серьезное научное сочинение по психиатрии.